

БОРИС СПОРОВ

Волжский роман



Живица

Жизнь без праздников. Колодеи

Волжский роман

Борис Споров

**Живица: Жизнь без
праздников; Колодец**

«ВЕЧЕ»

2020

Споров Б. Ф.

Живица: Жизнь без праздников; Колодец / Б. Ф. Споров —
«ВЕЧЕ», 2020 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-8380-6

Роман-трилогия «Живица» состоит из книг «Исход», «Жизнь без праздников», «Колодец» и имеет подзаголовок «Хроника одной семьи». Струнины – родные погибшего фронтовика из деревни Перелетиха Горьковской области. С первой до последней страницы мир вращается вокруг этой семьи. В данном издании публикуется завершающая часть трилогии. Книга «Жизнь без праздников» описывает период «революции» Хрущева. Полным ходом идет усиление колхозов, строительство крупных агрокомплексов и, как следствие, запустение неперспективных деревень. В городе на строительстве наступает смена поколений. Судьбы родителей и детей претерпевают тяжелую ломку. И только младшая из Струниных, Нина, все ещё крепится, оставаясь с племянником Ваней в порушенной, заброшенной Перелетихе. Книга «Колодец» рассказывает о возвращении Струниных к родовым истокам, в родную деревню, где и жить негде, и даже вечные поилцы – ключи – иссякли. Начинается возрождение хозяйства и возврат к вере. Всё как будто становится на круги своя, расставляя Струниных по определившимся местам. Но главное: все живы – перемогли. Жизнь продолжается.

ISBN 978-5-4484-8380-6

© Споров Б. Ф., 2020
© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Жизнь без праздников	6
Часть первая	6
Глава первая	6
1	6
2	8
3	11
4	13
5	16
6	19
Глава вторая	23
1	23
2	25
3	26
4	28
Глава третья	30
1	30
2	32
3	34
4	37
5	39
6	41
Глава четвертая	44
1	44
Часть вторая	54
Глава первая	54
1	54
2	56
3	59
4	61
5	62
Глава вторая	68
1	68
2	69
3	73
4	75
5	77
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Борис Споров

Живица: Жизнь без праздников; Колодец

© Споров Б.Ф., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Жизнь без праздников

Часть первая

Глава первая

1

Май 1971 года выдался теплым и на редкость дождливым. Дожди, казалось, не прекращались с минувшей осени: шли и в ноябре, и в декабре, а в канун Нового года разрядилась ещё и молния. Самая что ни на есть зима, вокруг же черные поля под черепицей наледи, и в небе поблескивает да погромыхивает. Выпадали дожди и после Нового года – по снегу, а уж с Евдокии сеяло с перерывами числа до двадцатого апреля. Затем недели две стояла душная жара, успели даже отсеяться, но уже в начале мая небо вновь надежно заволокло – и не было дня без примочки.

А Борису и вовсе порой мнилось, что дожди не прекращаются уже бесконечно долгие годы – с тех самых пор, как похоронили тещу, мать, Елизавету Алексеевну, и затеяли новостройку в Курбатихе. Срок немалый – миновало шесть лет, этот – седьмой. Эх и затянулось же ненастье! И впереди – без просвета.

День был воскресный... Однако проснулся Борис рано. Собственно, не проснулся – он и всю-то ночь только то и делал, что ворочался с боку на бок – рано поднялся. И лишь откинул одеяло и свесил с кровати ноги, как Вера, будто и не спала минутой раньше, назидательно проворчала:

– Пошто и взбулгачился? Или нелегкая понесёт? Господи, – с позевотой заключила она, шумно, с подъёмчиком, повернулась к стене лицом и зарылась в подушку, чтобы доглядеть сладкие заревые сны.

Борис посидел на грядке кровати, вздохнул с тихой обреченностью и скользнул голыми ногами на пол. Но прежде чем одеться, он на цыпочках прошёл к приоткрытой двери и заглянул к сынам в смежную комнату – все трое спали: Петька с Ванюшкой, Федька – один. «Эка, властный парень растёт, с «карактором», – добродушно усмехнувшись, подумал Борис и опять же невольно вздохнул – о, эти вздохи, ну, как зараза прилепились, стали привычкой в курбатовские годы. Теперь хоть в семье не замечают, а то бывало, как только вздохнет, жена и руки опустит: «Да ты что, друг милый, – ровно кого схоронил – вздыхаешь-то как».

А несла нелегкая Бориса на Имзу удить рыбу. Вот ведь, отродясь рыбаком не слыл, считал – детское это дело, ребячье, окуньков-то на крючок ловить. А вот пристрастился, словно кто гонит из дома вон.

Ополоснув лицо и быстро одевшись, Борис тотчас закурил – тоже привычка последних лет: бывало не ест до восьми-деяти – и не закурит, а теперь глаза не успеет раскрыть – за папиросу – закурил и вышел на крыльцо. Дождя не было, но казалось – шелохнись ветерок, чуть колыхни наволоку – и вновь оросит. Затянувшись разок-другой тяжелым ядовитым дымом, Борис чему-то невесело усмехнулся, замедленно провел ладонью по венцу дома, отодрал тоненькую плёночку подкормя: крепкий дом, новый дом, ещё и бревна не остарели, а не люб, холоден новый дом, бездушен...

Минут пятнадцать спустя Борис вышел уже одетый для реки: в прорезиновом плаще с башлыком, в кирзовых рыжих сапогах – по такой гнили ни один крем не держится, а деготь в

деревне забыли как и пахнет. В руках у него было две удочки и котелок – высокое конусное ведерко с крышкой – там и приманка для рыбы, и для себя завтрак в тряпице.

А дом по-прежнему мирно спал: и который уже год вот так-то. Казалось бы, радоваться надо – нет же: пахнёт да пахнёт от тихого мирного дома вечным покоем – тут и вздохнешь, и закуришь натошак, а то и выругаешься несусветно – нет, не на жену, не на детей, а на весь этот унылый недеревенский покой. Хотя что бы и тревожиться, подниматься да баклуши бить, когда огород посажен, а во дворе ни коровы, ни козы, ни поросенка – ничего, кроме десятка куриц с петухом, да и те так – для побудки.

Дом Сиротинных стоял третьим от дальнего конца Курбатихи, и к Имзе можно было бы пройти или за вторым двором по тору или же – чего проще! – через свой усад, напрямик через луга, трава не вымахала по уши, не утонешь. Однако Борис прошёл ещё за десяток дворов в глубь Курбатихи, и наконец коротко, по-хозяйски требовательно стукнул в боковое окно одного из домов.

И точно ждали: занавесочка на окне раздвинулась, створки рамы откинулись, в окне нарисовалась заспанная торгашка – так её без злобы называли – Феня в модной синтетической сорочке с кружевами на груди. Поняли друг друга без слов: Борис сунул в руку Фени пятерку, Феня Борису – пол-литра водки. Вместо сдачи она бесстыже всплеснула голыми руками, закрыла створки окна, осторожно, чтобы не разбудить мужа, и задернула шторку.

Борис только головой крутнул – полтора рубля враз и заработала Феня. А что – не хочешь, так и не бери... Он опустил поллитровку в котелок и понуро побрел по мокрой тропке в луга, к Имзе.

И ещё долго маячила его фигура в сером ненастном рассвете.

* * *

Вышел Борис к омуточку – в этом месте Имза делала свою очередную петлю – к тому самому омуточку, в котором так любила купаться перелетихинская ребятня и за право купаться в котором вечно воевавшая с курбатовскими сверстниками... Отвоевались – бойцов в Перелетихе нет. Хотя и омуток был не прежним, но и сам-то Борис теперь уже находился на противоположном берегу, на курбатовском. Так вот и сменились берега, а мнилось – рубеж пройден, граница пересечена.

Он достал из-под бережка сухую досточку, положил в её же гнездо-след и сам на неё сел, упершись каблуками кирзачей тоже в свой след; сел – и вздохнул обреченно, так что на миг и самому смешно стало: и что за вздохи на самом-то деле, житуха – умирать не надо, за работу платят, а тут вздохи... Энергично размял мякиш хлеба в лепешечку – для приманки, – положил ее на концы двух удилиц и осторожно опустил в оконце между лопушками кувшинок. Распустил лески, наживил крючки, аккуратно забросил на клев и лишь тогда неторопливо взялся за водку, чтобы ни свет ни заря приложиться.

Набулькал в солдатскую кружку; перекопился, понюхал хлеб, похрустел луком и уже через минуту почувствовал, как тупая боль из груди отступает, размягчается и точно расходится по всему беспредельному телу – легче становится, опустошённое. И вдруг подумалось горько: «Господи, уж не спился ли вконец... чур, чур, не дури – ведь трое сыновей-мальцов... хотя какие уж мальцы – женихи!» Однако и эта реальная боль-тревога стала уже привычной, глубоко не волновала – так только, легким трепетом-испугом напоминала о себе.

Творилось что-то неладное, но что – понять Борис не мог, хотя замечал даже перемены в своем характере. Бывало, в праздники чем больше выпивал, тем веселее становился – уходил от вечной нужды и заботы, – и пел, и даже плясал, и делался говорливым. Теперь же с каждой рюмкой лишь безнадежнее мрачнел, тяжелел, обретая и обживая новые заботы, новую нужду, а

уж петь-плясать – и вовсе отучился. Поначалу думал: возраст, – но затем понял: нет, не возраст – что-то в душе повернулось.

Замолчал, охмурился Борис – и это было так наглядно, что над ним даже подтрунивали свои, перелетихинские, мужики: эва, мол, ты никак в Перелетихе молодуху свою и оставил... И в этом была доля правды: не молодуху – отчину.

2

После того как схоронили мать, окончательно и решили переселяться в Курбатику. Возможно, посомневались бы и ещё, не поделись Алексей деньжишками. И оставил-то крохи, около двухсот, но для деревни – деньги, которые ко всему не рассоришь, не прогуляешь – пожертвованы на дело. Вот и сели считать, сколько всех-то наберётся, и набралось – опять же крохи! – со всей мелочишкой пятьсот. Для новой застройки мало, но и начинать можно.

Правда, не погорельцы, не после пожара – куда бы и спешить! Но когда уже решено, то и откладывать на долгий срок – нелепо. И Борис, подтянув ремень, решил тряхнуть «старинной», колхоз предложил ссуду – взяли тысячу рублей, это уже деньги. Лес выписали на корню, впрочем, на небольшую хибарку – надеялись пристройку поставить из старой избы, однако и опытные люди присоветовали: выписывай самую малость, а где дерево – там пять, с лесником договоритесь – дешевле обойдется... А пока суд да дело – снег-то и лег. Уже в декабре на отведенной деляне Борис с Чачиным валили бензопилой строевую сосну. И когда, казалось, дело уже двинулось, под Новый год дома вдруг состоялся непредвиденный разговор, поначалу показавшийся нелепым. Сели за стол, Нина и рассудила вслух:

– А я, пожалуй, здесь, в Перелетихе, останусь, вы уж одни туда... без меня.

– Как это здесь, как одни... нелепая. – Вера и руки опустила, и глаза ее округлились – как если бы она предстала перед небылицей.

А Борис, ещё не зная, по сути, причины, тотчас все-таки смекнул, понял, что ли, правоту Нины, правду её. Он опустил взгляд и настороженно ждал продолжения разговора... Они с женой давно и накрепко привыкли к тому, что Нина неотлучна, Нина рядом, вместе, Нина – одна семья, что как-то и не подозревали, а точнее, не думали, что и у неё могут быть свои интересы, может быть своя жизнь, которую и ладить она будет своею волей... Но вот ещё что: пока жили в доме – никто не сомневался – всё так, всё ладно, а когда теперь уже было решено – переселяться, то и показалось вдруг нелепым оставаться здесь, в этой, хотя и родной, развальной, будто и сами только в гости сюда приехали.

– Да ты рассуди, чего это ты удумала!... Ой, да оставь ты шуточки шутить! – И Вера беспечно отмахнулась от сестры рукой.

– Не шучу я, Вера, не шучу! – И Нина засмеялась. – Я ведь думала, думала я об этом, и вот и решила...

И Нина на редкость спокойно повела речь о том, что, мол, дом здесь родительский, что оставлять его нет причины и нельзя, потому что хранится ведь что-то в нем, живет что-то, кроме сегодняшних его жильцов-хозяев: ноги у нее молодые, можно и побегать в Курбатику, да и нелепо ей, взрослой и самостоятельной, тащиться вслед за семьей сестры, когда нянчить никого не надо, что насильно ведь дом, поди, сносить не станут, а если решат, то уж тогда и поневоле в Курбатику, а пока что здесь ей будет хорошо... И ещё о многом сказала Нина, и говорила она с таким спокойствием, с такой убежденностью, что отмахнуться от слов её уже никак нельзя было, оставалось только удивляться: и когда эта тихоня всё обдумала, выверила, чтобы вот так враз – и выложить: судите, мол, рядите, а я – решила. Но ещё больше схоронилось у нее в сердце, что Нина не пропустила через свои уста. Жило и в ней качество, какое сохраняется во многих и поныне, – чувство самопринижения. Вроде бы и ум есть, да куда там, вроде бы и мысли родятся – только куда уж нам с мыслями да ещё со своими! И

бывало ведь так, если даже просится какая-то мысль-идея, которая вот теперь бы и кстати, Нина не могла высказать эту мысль как свою, а говорила оборотисто: «А вот я слышала», – или: «А вот, как говорил один преподаватель в техникуме...» И при этом краснела, смущалась, точно и впрямь похищала чужую мысль или выдвигала давно известное предложение... Действительно, как она могла сказать сестре с мужем, что она за последнее время, собственно, с тех пор, как судьба Перелетихи была решена, постоянно думала и о деревне, и о земле, и о том, что в конце концов пришла к убеждению, что все грядущие перемены – это не естественный ход жизни, не результат естественного развития – так, мол, и не иначе, – а всего лишь временное мероприятие, как это было с коллективизацией или с кукурузой. Нина сама, без посторонней помощи и подсказки, охватила вдруг и поняла, что на обширных и в то же время клочковатых землях России нельзя обойтись без частых деревенок, без малых ферм, без малого стада, точно так же, как не обойтись государству без личной коровы, овцы, курицы, без личного огорода; что малые деревеньки – это сложившаяся веками форма землепользования и, нарушив эту форму, мы невольно нарушили продовольственное хозяйство, так что голодом и ещё насидимся. Более того, Нина пришла к осознанию, что разорение деревенских насиненных гнезд пагубно, но неизбежно – это истребление, эксперимент, хотя заведомо и обреченный на посрамление: пройдет время и вновь начнут открывать и восстанавливать деревеньки – след в след, как они были, хотя и это тоже будет восприниматься мероприятием, и только когда уже волчицей взвоят голод, когда от эксперимента опухнут языки и опустятся руки, тогда только и взвопят: делайте, что хотите, живите, как хотите – накормите, замирает жизнь! Тогда-то и будет сделан очередной шаг естественного развития – появится новая форма землепользования. Жизнь укажет, нужда научит – и формы определятся. Но случится это не раньше, как в новом веке. А двадцатый век – экспериментальный, вышедший из повиновения, мечущийся между добром и злом, между разумом и безумием, век сроков, век безвременья... Ну, как обо всем этом могла бы сказать Нина? Ну, выслушают, ну и скажут: ты что, девка, или рехнулась, или умнее других себя возомнила? Негоже так-то... Нет уж, лучше помолчать.

А Вера и Борис решили иначе: повзрослела Нинуха, решила отделиться. Правда, Борис мужским чутьем хозяина разумел и другое: и ему не след бы трогаться с места. Только ведь дети, сыновья, трое их, как с ними-то быть, если даже школы в Перелетихе не осталось... Значит, такова доля, таков крест, и крест этот – его, ему этот крест и нести.

* * *

За зиму было сделано немало: и лес вывезен, и пропущен на пилораме в соседнем совхозе, и кирпич с цементом завезли, и шифер – материал для дома в основном был собран.

А в апреле Борис уже нанял шабашников рубить сруб; косяки, рамы, двери тоже делали на заказ – в остальном Борис надеялся на свои руки, на помощь деревенских мужиков... Но уже с зимы, с валки леса, началось хмельное времечко. Знал Борис про хмельную беду, но в подробностях такого даже и не подозревал: как будто всё оценивалось бутылками, всё можно было достать и сделать за бутылки, без бутылок – никак, и вот беда – при всяком разе и самому приходилось пить. И это так изнуряло, выматывало, что за год Борис буквально постарел: потемнел лицом, осунулся, волосы поседели, и когда уже в ноябре поставили печь, сидя за столом рядом с печниками, он вдруг обхватил голову руками, застонал и заплакал.

Выждав короткое время, как будто и вовсе безучастно пожилой мастер-печник спросил:

– Ты что это, паря, или уж так с домом ухахтался?.. А ты давай-ка вот ещё по лафетничку – оно и обмякнет.

Борис вытер слезы ладонью к вискам, прерывисто вздохнул и обреченно признался:

– Не дом ухахтал, водка ухахтала – не могу: с ей не могу, и без её, мнится теперь, тоже не могу – никак очумел от заразы.

Молодой печник-подсобник было гоготнул, но тотчас и проглотил гогот, как захлебнулся – очень уж свирепо старшой зыкнул на него, а Борису негромко сказал:

– А ты, паря, покуда вот чувство это не пропил – и поставь точку, остановись – и ша... Я ведь и сам, и-эх, давно этим делом балуюсь – как на фронте глотнул «боевой» прелести, да как пошел шабашить по частному, так уж и не торможусь – беда. Только меня уже это дело не тревожит. Тебя тревожит, ты и остановись, кончил – и ша... А пока для облегчения и примем... Ну-ну, не один ты в поле кувыркался...

Но остановиться и сказать «ша» Борису не удалось. Был переезд, было новоселье, были и повседневные заботы-хлопоты, которые почему-то уже непременно сопровождались «пузырями».

Дом хотя и смотрел на запад, смотрел осанисто, даже горделиво – четыре окна на улицу, два боковых; передняя-кухня, горница и боковая просторная комната для детей – летнюю же пристроить сил не хватило, да и не было пока в ней нужды... И на какое-то время радость все-таки обуяла: как-никак, а дом осилили – новый, крепость родовая, а главное – сами. И расставались с Перелетихой естественно, без грусти, и переехали шумно – почти весело, и дети тотчас бойко захлопали дверями. И только Борис и Вера как будто начали поживать, все озирались с усмешкой – оба с первых дней неуютно чувствовали себя в новом доме.

– Что ли, зябко здесь, – озираясь, говорил Борис.

– Зябко, – соглашалась жена, но тотчас бойко и добавляла: – Пообживёмся, тепло и станет.

Время шло, а тепло не приходило. Попривыкли, смирились, а тепла уютного, своего, родного не ощущали. Как будто не было кровного родства с домом, с двором, с убогим огородом, с самим местом не было родства – не ко двору, и Борису порой казалось, что все здесь источает только холод: стены, потолок, полы и даже дышащая теплом и запасом пищи русская печь – всё с ознобом. И вот этот холод, вот эта отчужденность заставляли Бориса вновь и вновь макать в стакан усы, которыми он обзавелся уже в Курбатихе.

* * *

Клев был веселый, плотва так и садилась на крючки, но тотчас и сходила – рыбак рассеянный. Не до плотвы, когда и здесь преследует озноб, уже въевшиеся в плоть и кровь домашний холод, когда думы заняты не плотвой, а решением вопроса: уезжать из Курбатихи или нет – голова кругом идет. Клюй, плотвичка, рыбаку не до подсечки – самого подсекли.

Время уже перевалило за семь, а рассвет как будто остановился и застыл. Под низким, туманно морозящим небом и сам как рыба в большом омуте... Сосет сыростью, и никакого просвета, и в Имзе непросветлённые с половодья воды – так незаметно и катится серенькая.

А за Имзой, чуть правее, давно уже окончательно заброшенная, а теперь и порушенная перелетихинская школа да одичавший и повымерший сад Веры Николаевны. А ещё чуть правее – ключики. А ещё чуть правее, на горушке, – вон он, рукой подать – дом, ещё ниже, казалось, вросший в землю, зато с живыми теплыми стенами. И оконца тлеют утренним, слабым светом, и дым из трубы клонится да жмётся к земле – тяжелый, сырой воздух давит. Не спешит, наверно, Нинушка, доводит печь, а в других четырех домах пока и трубы холодные. Теперь никто никого не кличет, не вылавливает, не гонит, не наряжает на работу – всяк сам идет, а вот спешить – никто не спешит. А по такой-то погоде да в воскресный день...

Тяжело, исподлобья глядел Борис за реку, на тлеющие светом оконца – и всего-то верста, а точно другой мир или из другого мира, – глядел, слегка потряхивал головой, отчего сырой башлык надвигался на лоб, на глаза, и точно боролись в нем несогласные чувства: беспредметное чувство негодования и досады с чувством дорогой утраты, и складывалась тоска, тупая надсадная тоска – о такой говорят: на сердце кошки скребут, хоть вой – не избавишься.

И вот что непонятно было: жизнь-то улучшилась, полегче стало жить, а неудовлетворенность и раздражение прибавились. На кого досада, на что раздражение – на жену, на женину сестру, на детей или вон на Кирганиху, которая так и живет в Перелетихе, но у которой и окна темны, спешить некуда; теперь она богатая – пенсию одиннадцать с полтиной получает, а вот поросят держать запрещено – хлеба много жрут.

«Не жизнь, а зараза, – гневно подумал Борис и сплюнул с языка горькую от курева накипь... – И как это жить дальше, как удержаться в Курбатихе, на земле... Только стоит ли удерживаться, может, и прав Алексей: продать дом, а за те же деньги купить в городе, похуже, поменьше, но в городе. Враз и развязаться с деревней – будь она неладна... Может, и детям там выпадет иная доля. Хотя двоим и в армию вот-вот, а Ванюшка – сельский, его отсюда и палкой не прошибешь...»

И ломилась головушка от дум. Раздражал и влек к себе дом за Имзой, и уже хотелось посидеть-побыть рядом с Ниной, не раз уже она утешала, точно раскрепощая, освобождая от пут своим негромким накатистым воркованьем.

* * *

С гневом, беспредметно досадуя, Борис скрутил удочки, спрятал под бережок досточку-сиденье, хотел вместе с водой выплеснуть и рыбу, но в последний момент рука дрогнула – на дне остались с десятков плотвиц и окуньков, Нинушке на уху, – и споро зашагал к малому мосточку, чтобы перейти на перелетихинскую пойму.

3

Оно ведь только кажется, что всем есть дело до твоей личной жизни. Но это – мнимость. Так мнится, когда ты ещё сам живешь в миру, с миром, живешь казенной, что ли, жизнью: суетишься, лезешь во все щели, пытаешься судить-рядить или давать советы, пока живешь как все – в общем таборе. И тогда, если ты чуточку отступил в сторону, – заметят: не выпиваешь – значит, больной или брезгуешь обществом; не женишься или не выходишь замуж – опять же больной, ни Богу свечка, ни черту кочерга; деньги не транжиришь – скопидом... Но когда ты уже отошёл от таборной суеты, когда отстранился и пережил «чесание языками» соседей и знакомых, когда ты, придя домой, затворил за собой дверь и уже наверно знаешь: ты ни к кому не пойдешь, к тебе никто не придет – и вдруг вздохнешь облегченно: как же хорошо-то! – вот тогда только и начнешь понимать, что до твоей жизни никому нет дела, что ты во всем мире сам по себе, перед лицом Бога – один, личность или безличность, величина или ничтожество – всё равно: один... Сумеешь одолеть уныние, осознать, постигнуть в уединении человеческое величие и достоинство – значит, сумел заглянуть глубоко, значит, мыслитель в тебе, человек в тебе, Бог в тебе; не сумеешь – пропал: запьешь, загуляешь, одичаешь окончательно, и уже поселится внутри тебя животное, скотское, и лишь оболочка останется от человека, потому что животное в человеке столь же сильно, как и человеческое.

Нина прошла печальные круги уединения – и осилила их.

А началось, наверно, со смерти матери и Ракова...

* * *

Эх, Раков, Раков – энергичный и стремительный, подтянутый и вольный, красивый и умный – он как воздух, как стихия вошел в неё, и как перед стихией она не смогла устоять перед ним; как будто в радости она поклонилась ему и в душе своей сказала ему: «А я тебя ждала, так долго ждала, с самого рождения ждала – и ты пришёл». И радость эта, казалось, была ни с

чем не сравнима – точно впервые осознавалась жизнь и угадывалась её тайна – зачем? – тайна, над которой уже десятки и десятки столетий ломают люди свои грешные головы, выдвигая гипотезу за гипотезой и затем сами разрушая эти гипотезы в той же последовательности.

Они и всего-то одно-единственное лето пробыли рядом – но какое это было лето!.. И когда в тот счастливый и трагический день они ехали с ним в телеге на дальние поля и Раков бережно обнимал ее, целовал – она уже знала, что такое счастье, понимая, как она счастлива. И губы ее безгрешные робко вздрагивали и слабо распускались, как цветок одуванчика при восходе солнца, и легкий ласковый трепет непонятного волнения ласкал её, и только рука мужа, горячая и тяжёлая, прожигала одежду, точно это была вовсе и не рука, а горячий электрический утюг.

И пело сердце, и смеялось сердце и ликовало, и во всем мире, грезилось, ликовала сказочная осень, когда Нина уже одна обходила по опушке леса перелетихинские картофельные поля, чтобы, обогнув их, идти напрямиком домой – пообедать и передохнуть.

И навстречу по опушке выбегали нарядной стайкой тонконогие березки. Но не замечала счастливая, как зябко и робко жмутся уже оголенные холодные осинки, как хмурятся ёлочки предстоящей зиме; и птица, тревожно кричавшая из лесу, воспринималась весело поющей. И верилось, ничто уже не может замутить радостного девичьего ликованья, ведь он сказал, хотя и с веселой усмешкой: жди, сватать приду.

Но как же часто слепым оказывается наше счастье, слепым и обманчивым. И не чувствует душа, что счастье трепетно, что рядом – только глаза опусти земле – и вот оно уже, несчастье. И Нина опустила взгляд, и глянула вдаль по опушке – и увидела свою мать, точно поклонившуюся навечно земле...

Нина и после, когда уже горе отошло далеко за последний рубеж, не могла подробно вспомнить, как она, каким это чудом несла мать – не переставала удивляться, откуда взялись силы, ведь мать – не ребенок и не усохшая старушка.

И затмился день, померкла акварельная осень, а счастья тонкого и зыбкого точно и не бывало – туман осенний. И всё-таки в самые тяжелые минуты, когда горе до озноба сдавливало горло, угасала жизнь матери, – светил-таки, светил из Курбатиhi огонек надежды, как лучик небесного света входил он в потрясенное сердце; и вздрагивал, и гас этот лучик, и вновь вспыхивал верой – любовью и надеждой.

А потом ещё была неделя хлопотная и тяжкая, когда физическая и нервная усталость валили с ног – хоронили мать; встречали и провожали родню; толклись из угла в угол, разыскивая самые необходимые вещи, неожиданно исчезавшие из-под рук. И на время забыло сердце о лучике света, а вспомнило – застыдилось: ну как можно в горе об этом думать. И все-таки думалось, думалось и днем и ночью – стоило лишь проснуться, думалось и тогда, когда Нина по первому легкому морозцу спешила утром в Курбатиhi, на планерку. Мороза, собственно, и не было, а лег с вечера туман, к утру и закуржавела трава-мурава – белая, в изморози. И под ногами похрустывало, и оставались темные мокрые следы, как прожитые дни, и казалось, что уже вплотную надвинулась зима – вот-вот и запокряхтывает, и запоскрипывает, и распустит рукава со снегом.

В то утро Нина не узнала главного агронома Ракова.

* * *

Личная, бытовая, что ли, история жизни Ракова была проста и понятна. В районном городе со школьных лет он выделялся тем, что был не только видным и ладным, но и умственно одаренным, хотя смолodu в нем и не хватало характера, стойкости не хватало. Такие обычно не идут в сельское хозяйство. Раков – пошел. И не потому, что так истово любил землю, но

загородные масштабы для него были привычны – здесь его ценили, здесь он чувствовал себя уверенно.

Надо бы повременить с женитьбой, но именно на любовной стезе молодости и свойственны оплошки. Будучи сам на третьем курсе, Раков женился на студентке пятого курса медицинского института. А уже через полгода родилась дочка. После окончания института он вынужден был работать сначала в городской системе озеленения, а затем в пригородном овощеводческом совхозе. И за годы бесконечного мотания из города в пригород и обратно отношения с женой обострились до развода. «Все, хватит», – в один голос заявили они. Однако развод затягивался, формальность эта, как ошибочно думалось, и не нужна, от алиментов Раков скрываться не замыслил. Разошлись и разошлись: кому понадобится штамп в паспорте, тот и подаст в суд – разводишь. А пока – разбегаемся... Спустя две недели Раков уже числился главным агрономом.

Здесь он окончательно и понял, что его первый брак – ошибка... Все складывалось и определялось само собою. Но именно в то время, пока Нина сидела над больной матерью, в Курбатихе объявилась жена Ракова – врач Валентина Викторовна с дочкой.

Сразу трудно было понять, к мужу ли она приехала или за мужем, но одно было очевидно: мужа она решила не упускать. Прожив без мужа год, она не только отдохнула от него, но и убедилась в том, что другие мужчины – не лучше.

Как летний снег на голову обрушилась. Ракова точно ошарашило – он ссутулился и нахмурил брови, понимая, что от жены ему никуда не деться – она ведь не только красивая, но и агрессивная, а развод не оформлен. Заочно перед Ниной ему было всего лишь неловко, а жалел он в сложившейся драме – дочку и себя.

Чачин же, увидев Валентину Викторовну, сказал: «Ну, из-под этой бабенки не вырваться».

А Бачин, вздохнув, с искренней грустью приговорил: «Жаль Нинушку, поди, и того уже, дело... сделано».

4

А Нинушка печатала свои следы по хрусткой серебристой отаве – и боль в сердце, и предчувствия дурные относилась не на счет Ракова, а на домашний счет. И когда поднималась на крыльцо правления колхоза – сердце бухало гулко, – в ней боролись два сильных чувства: утрата и радость предстоящей встречи – вот, сейчас, лишь бы переступить порог. И она переступила порог, и уже прошла через общую прихожую, когда дверь из кабинета резко распахнулась и с бумагой в руке скоро вышел Раков. Лишь на мгновение он затормозился – сбился с шага, споткнулся – и сказал, точно вздрогнул или охнул:

– Нина... я сейчас, – и, не подняв до конца головы, ринулся, как к единственному спасению, в председательский кабинет. И закрылась за ним дверь, а Нине помстилось, что Раков враз и рухнул на пол – там, за председательской дверью. Да он ли это и почему не остановился, неужели так перестрадал – её беду?

В растерянности и недоумении Нина вошла в кабинет агрономов.

– Ой, Нина! – горьким возгласом встретила Маруся Воронина, Настасья Ворониной племянница, агроном без образования... В агрономах она оказалась престранным образом. Работала в полеводстве звеньевой, так бы, наверно, и работала, если бы не случай. Когда власти затеяли кукурузный шабаш, Маруся как-то и принесла для своих кур в кармане зерен кукурузы – куры не клюют, хоть сама плотай. А за двором, с южной стороны был у Маруси клынышек тёплой земли. Муж когда-то погреб рыл, так на этот участок песок и вываживал, здесь он и осел, сюда же со двора и навоз выкидывали, чтобы затем разбросать по огороду, прилепок земли пустовал – лишь куры ямки рыли, блох выгоняли. Маруся тяжелыми граблями

эту супесь пробороновала, да и побросала на авось кукурузу. Она и вымахала выше роста, с добрыми початками. Увидел агроном, увидел председатель – не диво ли! Приехал инструктор райкома – тоже подивился. А тут совещание кустовое – необходима выставка. Нарезали Марусиной кукурузы тяжелый сноп, да и отвезли это чудо на выставку. Ну и подписали: «Кукуруза с опытного участка звеньевой М. Ворониной». Подивились и обкомовские работники, кто-то из них и высказал мнение вслух: «Да такую звеньевую надо агрономом ставить – колхоз-то озолотится». Агрономом-то Марусю поставили, только колхоз, правда, не озолотился: Марусин задворок – не поля подзольные.

– Ой, Нина... Маму-то схоронила, тетю-то Лизу схоронила, ой, Ниночка...

И обняла Маруся Нину за плечи и поприжала её, и обе они всплакнули: одна схоронила, другой – не сегодня завтра тоже хоронить, очень уж сдала за последнее время тетушка, Настасья Воронина..

– Ой, Нина!.. А к Николай-то Васильевичу жёнка нагрязнула, с дитем, с девочкой... и сам не свой.

– Как жёнка, какая жёнка? – механически переспросила Нина. – Чья жёнка, с какой девочкой, что за Николай...

– Господи – какая! Да Ракова, Николай-то Васильевича...

Ни один мускул на её лице не дрогнул, только зрачки расширились да губы потемнели, точно окаменевшие.

А Маруся всё говорила и говорила: и какая женка красивая да гордая и, видать, ни капельки не любит Николая-то Васильевича, и как она ходит, и как голову носит, и что поговаривают, будто она в Курбатихе врачихой останется – и это дай-то Бог... Временами Маруся переходила на шёпот, и тогда уверяла, что сам-то Николай Васильевич, похоже, и не рад такой оказии – прямо постарел, ходит злющий...

Нина слушала, понимала и не понимала, но исподволь входила в себя. Наконец она шумно вздохнула и сказала спокойно и отстраненно:

– Ладно. Сами и разберутся... Значит, девочка?

– Девочка, девочка, да хорошенькая...

Дверь отворилась, и, все так же не поднимая взгляда, к своему столу прошёл Раков. Маруся тотчас засуетилась, заспешила – на склад, к семенам, выскользнула из кабинета, плотно за собой прикрыв дверь.

Нина смотрела на Ракова, видела, как беспечно он перекладывает бумаги с места на место, и не переставала удивляться – где он, вольный, деловой и открытый Раков?! И почему он так: или жена не любя, или перед ней, Ниной, ему неловко?.. И стало жаль его, и захотелось утешить его, сказать ему сочувственное слово – только каким должно быть это слово?..

Наконец руки главного агронома освободились от бумаг, замерли, и только пальцы поглаживали собственные ладони. Он медленно поднялся со стула и прямо глянул на неё.

– Нина, – сказал Раков не своим, осевшим от курева голосом, – Нина, у тебя мама умерла, и планерки сегодня не будет – шла бы ты домой.

Она молчала, и он молчал, и казалось, что это молчание уже давно-давно сопровождается посторонним шелестом или звоном.

– А как же... – Она хотела спросить: «А как же я?», но спросила: – А как же ты?

И он понял её: правая его ладонь с раздвинутыми пальцами была прижата к левой стороне груди, к сердцу. И он произнес:

– Вот, смотри... – И как будто с трудом оторвал ладонь от сердца, и эта дрожащая ладонь, уродливо скрючившись, повисла в воздухе... Нина тихонько ойкнула – и отстранилась ладонью, и голова ее откатнулась: почудилось, что ладонь Ракова в крови, что от сердца он оторвал ладонь с плотью и кровью.

Как с молотьбы возвращалась Нина домой, и руки её беспомощно обрывались вдоль тела, и голова клонилась долу... Но в душе её не было кричащей, что ли, боли, не было унижения – лишь тишина до звона, дополнительная опустошенность. И она была рада, даже счастлива, что, вот, может уйти, сбежать из Курбатиhi – к себе, домой, за Имзу, в Перелетиhi, и что если бы нельзя было сбежать, то она, наверно, умерла бы... Именно тогда ещё раз Нина и решила, что из Перелетиhi никуда не уедет, останется вековой в родительском доме.

Но мало-помалу затмение всё же находило.

Сначала Нина медленно и неповоротливо осваивала сам факт: Раков женат, у него дочка – они приехали сюда жить. Он молчал, значит – обманывал... Господи, да как же так можно! Ведь нельзя обманывать, если собираешься сватать, да и какое сватовство – семья рядом!..

Нина знала, что уже летом по Курбатиhi гуляла молва, что, мол, Николай Васильевич агрономку охмурил, что у них, мол, любовь закручена – только вот мужик для Нинушки Струниной слишком видный! – ей попроще бы... Нина усмехалась такой молве. Не было ей печали от этого, потому что она-то знала – их отношения чисты, а что до любви – так в этом одна радость. И она радовалась – и была счастлива... А теперь, уже в затмении, бредя по лугам, Нина вдруг была поражена тем, что могло случиться – ведь для этого, пожалуй, было достаточно его желания и незначительной требовательности и она уступила бы... Господи, да ведь это вполне могло случиться – не случилось. И как же это славно, что не случилось. И спасибо ему за его осторожность, за бережливость...

И вот тут-то на Нину и нашло затмение: она почувствовала неприятное головокружение, и свет в глазах как будто померк – и точно земля разверзлась, и небо разверзлось, и донесся до слуха, даже не до слуха, а до сознания и до сердца, всеохватывающий голос: «Будешь одна, будешь одна». И все. Нина открыла глаза: всё как было – и небо, и земля, за спиной Курбатиhi, впереди Перелетиhi. И всего лишь к главному агроному приехала жена. Но содрогается тело, как воздух после взрыва: «Будешь одна...»

И возвращалась опустошённая, как облако, пролившее дождь, спелёная приговором: «Будешь одна». Она поднялась по тропинке мимо звящего ключика, не наискосок, как ходили с ведрами, а напрямую, где поднимались налегке. Поднялась в горушку, распрямилась и оглянулась вокруг – и увидела порушенную землю, порушенную родину: и луга в кочкарнике, зарастающие тальником, и заброшенную школу, и настороженные подворья былой Перелетиhi – и всюду, всюду, куда лишь достигал мысленный взор, всюду запустение. И даже то, что утром, до встречи с Раковым, казалось живым и сильным – и это всё теперь представилось поруганием... Нина повела взгляд по усаду, на котором стояла, – и зарос он густо бурьяном и крапивой с подпалено-почерневшими после морозного утренника листьями... Но ведь это усад Сашеньки Шмакова: здесь и земля-то, наверно, не помнит хозяина – не только хозяин землю. И двор, и омшаник, и банька – всё давно пущено на дрова. И домишко, голенький, как скворешня, накренился, покачнулся под горушку. И мститесь – выпадет, ляжет снежок, и покатится домишко вниз, как детские саночки.

И, не пытаясь даже отгородиться от печальных дум и мыслей, Нина побрела к родительскому дому.

...Осень, осень! Какое прекрасное и печальное время. Земля уже отдала людям свои плоды, и теперь, уставшая до дрожи и освободившаяся от бремени, как будто погибающая, замерла, ждет – вот-вот и аукнет зима, и накроет смертельными холодами.

Уже втоптана в грязь акварель осени, и не только деревья и потемневшая река, но и дома, и люди вдруг впадают в напряженную растерянность – безвременье угнетает. И охватывает ложно тревожное чувство: а ну как вот такое безвременье – и без конца, на веки вечные! И оторопь берет, и страхом знобит, и, наверно, пал бы человек, если бы не надежда, не вера в то, что через снега и вьюги, через оттепели и морозы грянет-таки весеннее воскресение – воскресение всего живого, от былинки до могучего дуба и до звёзд. Вот эта вера и смиряет

человека: и его душа уже готовится к весеннему пробуждению; хотя и робеет душа человека, но и безвременье тяжкое отступает, не гнетет, и долгая зима уже не страшит, не леденит навеки – ведь впереди всеобщее воскресение: и зацветут травы, деревья, заколосятся хлеба, и человек в радости ощутит и поймет свою неразрывную связь с вечностью, и не только с землей, но и со вселенной, и, ощутив это, невольно осознает и свою личную вечность. А иначе как и жить – не стоит... Только и осень бывает тягостна, потому что вдруг настигают сомнения: а если так навечно, если так и не рухнет оплот безвременья?... Боже, как же в такие минуты тяжело...

Нина не сделала и десятка шагов, когда почувствовала необоримое желание задержаться и глянуть на дом Сашеньки. Она и задержалась, и глянула – и увидела единым охватным взглядом и под окнами свежесломанную ветку бузины, и окна, и в одном из них, как картина в раме, – Сашеньку. Он стоял опершись одной рукой в подоконник, а второй придерживался за раму над головой. И как весь облик его, лицо его было настолько задумчивым и отрешенным, что Нине вдруг показалось, что Сашенька-то Шмаков – старый и больной – обрел наконец ясный ум и память: выглянул в окно – и не узнал родную деревню; и такая-то боль за прошедшие в забытии годы отразилась на его лице, что, подумалось, ещё минуту напряженного откровения – и вскричит в отчаянном бессилье несчастный и вдруг просветленный человек, вскричит и рухнет в беспамятстве, а может, и замертво. И чтобы, Боже угасти, не видеть этого, Нина встрепенулась и побежала к своему дому, по-утиному разбрасывая отяжелевшие ноги...

Спустя неделю Сашенька умер. Умер в больном одиночестве – так и сидел с открытыми глазами на полу перед русской печью, замерши, глядя не то в прошлое, не то в будущее... А накануне он весь день возился с принесенной из лесу жердочкой, привязывал-перевязывал на тонкий ее конец невесть где взятую красную тряпицу, затем пытался водрузить этот шест на крышу, но так и отступился, не осилил; тогда он выкопал под окном ямку и закрепил в ней шест с тряпицей. И ещё долго ходил вокруг, восхищался своей умелостью, сосредоточенно покачивал головой, повторяя одно единственное слово: «Флажок... Флажок». К празднику 7 Ноября.

Что творилось в его усталой душе... А может, действительно, разум его на короткое время проявился – и Александр Петрович Шмаков, сын крестьянина, солдат – защитник родины, истерзанный председатель перелетихинского колхоза, увидел и понял ту пропасть, в которую толкнула его жизнь на долгие годы, увидел и ужаснулся – и не вынесло сердце, разорвалось, и последний момент мученика был как на фронте, когда под ногами разорвалась мина – и солдат, казалось, долго-долго улетал вверх, уже контуженный, не ощущая никакой боли... А может, в болезни своей возвратился он в далекое детство: сидел возле печи и посматривал на пламя дров и на мать – она весело побрякивала ухватами... Только ведь и печь была холодная, мертвая, так что и домовый из-под печи давно куда-то переселился,

Похоронили Сашеньку тихо.

Мир праху твоему, Александр Петрович.

5

Чем ближе Борис подходил к Перелетихе, тем замедленнее становился его шаг. Будто шел он не к доброй свояченице, а к лютой вражине.

И не раз уже в таком вот состоянии думал: «Почему так – Петьке с Федькой Перелетиха «до лампочки», хотя они и выросли здесь, а Ванюшка без Перелетихи жить не может? Видать, все она, Нинушка...» А вот что Нинушка – понять он не мог, да и не стремился понять.

Когда перебирались в Курбатику, Нина упростила оставить Ванюшку у неё, хотя бы на первое время. И его оставили.

Раков был уже председателем колхоза, и Нина обратилась к нему:

– Николай Васильевич, нельзя ли так... чтобы я, ну, работала у себя в Перелетихе?

Почти год жена Ракова и дочка жили в Курбатихе, и почти год Нина по работе общалась с Раковым, и за все это время они и словом не напомнили друг другу о том, что было между ними, однако негласный, внутренний диалог велся – они ещё понимали друг друга. И когда Нина обратилась с просьбой, Раков понял примерно так: «Пойми меня правильно, я могу работать и здесь, но ведь лучше, если я схоронюсь в Перелетихе». – «Может быть, и лучше», – согласился он. И она продолжила вслух:

– А то ведь как получается: из Перелетихи в Курбатику, а другой – из Курбатики в Перелетиху. («Каждый день глаза мозолю: мне больно, а тебе, наверно, досадно». – И последовал ответ: «Мне тоже...») Борис с Верой сюда перебираются, а Ванюшка у меня побудет, на новом-то месте трудно сразу обжиться. («Одна я, своего-то ребеночка вдруг и не будет, так хоть с племянничком куковать буду». – И последовал ответ: «А у меня дочка, родная, и люблю я ее, только вот живем в одной семье, а как будто врозь – каждый по себе».) Вы уж придумайте, Николай Васильевич, что-нибудь, не обязательно ведь агрономом. («Давай уж, пойдем на жертву, так обоим лучше будет». – И последовал ответ: «Права ты, надо подумать...»)

Поражало самообладание Нины – губы не дрогнули, глаз не опустила: и какая же в ней сохранялась чистота, поистине – светлая... Нет, и Раков не чувствовал себя негодяем, да он и не был им, и всё-таки его обжигало прикосновением её взгляда, голоса, само присутствие – жгло. И появлялось желание обнять ее за плечи и сказать одно-единственное слово: «Прости». И он знал: она простила бы, утешила, после чего обоим стало бы легче. Но как это сделать, как обнять, как сказать это одно-единственное слово, когда столько вокруг и в себе условностей и сомнений... И он лишь нещадно курил, чадил сатанинским ладаном.

Наконец Раков вмял в пепельницу окурок и сказал негромко, но решительно:

– Нина... ты нужна всюду, как агроном. Но я подумаю... в общем, я понимаю, что это не каприз.

И Раков сдержал слово – подумал: вскоре Нину утвердили бригадиром на перелетихинских фермах.

И Ванюшка остался в Перелетихе.

* * *

Заливисто и требовательно звенел его голосишко: «Нянька, пить!.. Нянька, есть!.. Нянька...» И этот голосишко будил её, поднимал, заставлял, возвращал в реальную жизнь, заглушая тот трубный голос: «Будешь одна...»

И Нина улыбалась точно издалека. В задумчивости она нередко глядела на Ванюшку, и казалось ей (и она это чувствовала всем своим сердцем!), что это её ребёнок, её и Ракова, и что в нём, в этом крохотном создании, сосредоточился весь мир, вселенная, от него, от ребенка, и вся жизнь исходит...

* * *

Уже шесть лет помнился – и, наверно, так и будет помниться – очень мирный, теплый и радостный вечер.

Недели две, как лег снег, и детский, в три-пять градусов, морозец удерживал эту хрупкую зиму. Но не радовалась Перелетиха лучистому снегу – некому радоваться. И сиротливой казалась эта нетронутая уличная белизна.

Ванюшке не с кем было отметить приход зимы, и он ежедневно канючил:

– Няньк, айда кататься. – У него были и саночки, и лыжи, но какое катанье одному! – Няньк, на горку айда...

Нинушка оговаривала, обещала, да только времени всё не хватало, день-то короткий, а уличного освещения нет.

А в тот день она была в Курбатихе, возвратилась к обеду – никуда ещё и не пошла... И Ванюшка проявил характер: после обеда они пошли во двор ладить дровешки. Но пришлось вколачивать и расклинивать копылки, перевязывать таловый крепеж – словом, с час провозились, пока не наладили «конягу». Постелили старую дерюжку, сверху бросили соломки – и айда на тягучую школьную горку.

И как же они катались!.. Как падали!.. А как они смеялись – до слез, до икоты! – когда из Ванюшкиных штанов выгребали снег! В конце концов они уже еле-еле поднялись в горушку – пришли домой мокрехоньки, но такие радостные – и голодные! Ели горячую пшённую кашу, пили желтое топленое молоко, а когда Нина выскочила и всего-то на несколько минут во двор к тёлке, Ванюшка, розовощекий и горячий, как сидел – так за столом и уснул. Нина перенесла его в боковушку на диван. Раздела, укрыла, сама присела на краешек дивана – и, как в усталость, погрузилась в раздумье. Поначалу это было даже не раздумье – скорее, смутная внутренняя тоска или скорбь: годы прожитые кажутся чрезмерно многочисленными, и жизненная деятельность – пустой и будущая жизнь – бессмысленной; и все это обязательно потому, что жизнь-то как таковая не оценена, не понята, не возвеличена – вся жизнь воспринимается, как комплекс всеобщих и необходимых фактов, скажем: дом, уют, семья, непьющий муж, негулящая жена, дети – только ведь будь всё это, но и тогда мир может показаться с овчинку, потому что неминуемо будет грозить пальцем он, конец земной жизни, – и от этого смятения никуда не денешься. Тут уж одно из двух: или ты наконец поймешь предназначение жизни, поймешь, воспримешь и тогда возвысишься, или будешь пытаться обмануть себя всевозможными подачками или оболъщениями – разграфишь свою жизнь на множество мелких промежуточных целей и, достигая их одну за другой, будешь убеждать себя в целесообразности собственной жизни, хотя неминуемо в конце пути поймешь – все это размельченная суета, а на горизонте – грозящий палец.

В такие минуты, как правило, и приходит вопрос: а для чего? Для чего живет человек?

Вот это или примерно это и повергло в раздумье. И будь Нина одна, плакала бы она до тех пор, пока не уснула. Но рядом был Ванюшка, на него спасительно и переключились мысли. В избе натоплено, жарко. Во сне Ванюшка стягивал с себя одеяло и так-то привольно раскидывал ручонки.

Пройдёт время, и ребёнок, как деревце, сантиметр за сантиметром прибавится в росте, раздвинется вширь, нальется крепостью – и всё это будто само собой, от природы. А вот умственный, нравственный, духовный рост – как с этим быть? Всё вроде бы есть, всё заложено в капле крови – и только развитие требует особой пищи, здесь человеку уже не хватает просто физиологических изменений, необходима, как хлеб для тела, нравственная, духовная пища.

...И что это будет за человек? Землепашец, строитель, учитель или физик-ядерник, а может, это растёт человек, какие вехами обозначают и знаменуют века?.. Всё может быть, но ясно одно – и важно это одно: он должен вырасти созидателем, разрушителей и без того хватает, да и зачем пребывать в детской святости разрушителю? Или же и детская святость может быть изуродована и скомкана – и всё зависит от того, как он или что он ответит на неминуемый вопрос: для чего живет человек?

И не требовалось уже никаких усилий для того, чтобы увидеть Ванюшку – там, в будущем – взрослым, сильным и добрым. То представлялось, что он летит в космос – но зачем?! – то она видела его строителем сотых и двухсотых этажей – но зачем?! – то он перегораживал бетоном реки или поворачивал их вспять – но зачем?! – то он виделся домоседом-затворником, ушедшим то ли в науку-историю, то ли в науку-философию – но что он там ищет? И если находит, то для чего – для созидания или для разрушения? Она видела, она хотела бы увидеть Ванюшку сеятелем добра и хлеба.

И как колеблется, мерцает звёздочка в бескрайнем ночном небе, так жизнь Ванюшкина мерцала в будущем – так же реально и так же непостижимо.

* * *

И, наверно, именно тогда, в тот вечер, душой своею, сердцем своим Нина поняла, что вся их дальнейшая жизнь – ее и Ванюшки – будет скреплена клятвой нерасторжимости. И тогда же, наверно, в последний раз столь беспощадно для нее прозвучало трубно: «Будешь одна». Но слова эти теперь обретали иной смысл: нет, не одна – с ней Ванюшка... Но чтобы взвалить на свои слабые плечи ответственность за человека, за Ванюшку, она прежде сама должна ответить на вопрос: а для чего?.. Если же не ответит, то имеет ли право на человека будущего? И как же она поведет его в будущее, если сама-то – слепая. Ведь и в Имзе оба утонут с таким поводырём.

И длился тихий вечер, как одухотворенная мысль; и теплые стены дома представлялись живой пеленою, так что за стенами его уже не были видны ни села, ни города, лишь лунная бескрайность, погруженная в ночь. И только здесь, внутри пелены, сосредоточилась жизнь: она и Ванюшка – вот это и есть вселенная...

Затем Нина естественно, без нажима, переключилась на себя – в одно мгновение вспомнила всю свою жизнь – и поразила пропасть: впервые так отчетливо она поняла, что всю свою в общем-то недолгую жизнь она была предоставлена сама себе – одна. Вокруг родные и близкие – и все-таки одна. Даже мать так и стояла в сторонке... Нет, не было ни на кого обиды – да и за что обижаться! – когда отец погиб, а у матери пятеро осталось. Сыта, одета, обута – что ещё-то? Всё так, и иначе не могло быть, и все-таки над пропастью – поняла вдруг свое духовное сиротство, и ничем этого сиротства нельзя подменить: ни сестрой, ни братом, ни школьным учителем, ни техникумовским преподавателем, ни даже Раковым – он и сам слепой, сирота. Это и есть – над пропастью.

А ведь у каждого человека, хотя бы в молодости, должен быть наставник, который мог бы сказать: иди туда, делай то, продолжай начатое другими – и при надобности объяснил бы, почему туда, почему то, зачем...

А если нет?

Вот и идут люди каждый по себе – на ощупь, по краю пропасти со слепыми поводырями.

6

– Здравствуй, Нина, – сказал Борис, ещё не прикрыв за собой дверь, но уже перешагнув через порог, сказал, точно милости попросил.

Нина медленно повернулась от стола, болезненно-скорбная улыбка тронула ее губы, и лицо как будто вытянулось в сострадании.

– Борис, Борис, это что же с тобой творится?.. А я всё утро о тебе думаю, и душа болит.

И такое бескорыстие, такая доброта были в ее голосе, что как будто лучами солнца охватило и обласкало Бориса – и он рассеянно или расслабленно подумал: «Не она ли и дом-то согревала...»

– Вот и я о тебе с утра думаю. – Он неопределенно хмыкнул. – Выпил малость с утра и затосковал по родине. Вот, думаю, и случай: рыбешки на ущицу принес. – Борис передал из рук в руки котелок с бедным уловом и начал стягивать с себя непослушный мокрый плащ.

От Нины не ускользнула и эта мгновенная перестройка Бориса, и она, стремясь разрушить и остатки его напряженности, искренне восхитилась уловом и тотчас предложила сварить ущицу.

– А ты покуда умойся да покури, я сейчас – вот и похлебаешь ущицы... – И уже в следующий момент под ножом запотрескивала стойкая чешуя окуньков.

Борис повесил плащ, стянул со скрипом мокрые сапоги, достал с печи теплые большие валенки, надвинул их на ноги – и грустно усмехнулся памяти: лишь на мгновение он перенесся в далекое-далекое время, когда ещё не было ни Ванюшки, ни Петьки с Федькой. Он пришел с тяжелой, каких теперь нет, посевной, и такая-то безысходная усталость, а дома – уютно, мирно, и неутомимая Веруха сейчас выглянет от печи, улыбнется, и поможет умыться теплой водой, и достанет с печи большие теплые валенки для облегчения ногам – лишь на миг возвратился он в двадцатилетнее прошлое и усмехнулся, сострадав своим годам, так жестоко перекорезанным и мгновенно угасшим...

Он стоял возле умывальника уже в движении, вот-вот готовый поднять ладони к воде, и озирался вокруг удивленно, как гость или прозревший. Стены вот родные, с особым, хлебным, что ли, запахом, но какие же низкие потолки, крохотные окна, и подоконники прогнили, позамазала их глиной хозяйка. Да и все здесь пришло в упадок, и не столько время подточило дерево, сколько отсутствие мужских рук... Родной дом – теплый и благостный, но что-то иначе в нем – так на памяти не было никогда. Теперь здесь во всем порядок и чистота – мелочный порядок, мелочная чистота – печать женского одиночества. И верно, не было такого, чтобы в этом доме жил бобылём один человек. Разве же удержались бы занавесочки над печурками, если бы на печи спали хотя бы Петька с Федькой? Куда там! Или вот занавесочки на посудных полках. Да сама хозяйка сняла бы их, если бы печь работала на семью да ещё на скотину во дворе. Но нет в доме семьи, во дворе скотины – нет, хотя и привела колхозную телку... Озираясь, Борис ещё раз оглянулся и только теперь заметил: в переднем углу под иконой горела лампадка. Она, казалось, еле тлела, но света от нее исходило удивительно много, видимо, от оклада отражался свет... Иконы-то в доме сохранялись всегда, а вот чтобы горела лампадка – такого в памяти не осталось.

Пока Нина чистила рыбу, вода закипела. Нина смотрела на живую узловатую воду, на окуньков и плотвичек, ныряющих в кипящей воде, и смутная тревога охватывала её: неужели – и тогда не для кого уж будет вот так варить ушицу или парить редьку с медом... Нина знала, что в Курбатихе ежедневно решается вопрос – уезжать или не уезжать, знала она и то, что повлиять на решение никак не сможет. Но вот Ванюшка, неужели – увезут...

Уха – не говядина: ложку пшена, картошину, лучку да зелени – и уха готова... Ныряли белоглазые рыбешки, а Нина плакала – тихо, беззвучно – так умеют плакать одинокие женщины, и даже Борис не замечал её слёз... Уху-то сварили, только есть, оказалось, некому: Нина с утра уже поела, а Борису – ложкой рот раздирало.

А тут неожиданно припинала Кирганиха. Она и в старости так и не располнела, только в лице добавилась нездоровая одутловатость. И ноги с трудом приволакивала, да зрение быстро угасало.

– А я чаю, Нина, никак Алексей Петрович... прибыл. – Кирганиха перетащила через порог, как если бы гору одолела, и улыбнулась. – Доброго вам здоровьица.

– Спасибо, Катерина. А это, видишь, я, так что ошиблась. – Борис усмехнулся добродушно и печально. – Чего, или по Алексею сохнешь?... А ты садись, в ногах-то правды нету.

– В моих-то ногах, и верно, нету. – Она села, нескладно выставив отёчные ноги перед собой. – Чаяла, Алексей Петрович. Сохну, знамо дело, сохну: он же пенсию обещал охлопотать. Мой ведь пенсион – одиннадцать с полтиной, а за поросятами ходить – обезножила. По годам-то ещё можно бы, да обезножила.

– Укатали Сивку крутые горки, – не столько уже разумея Кирганиху, сколько, наверное, себя, сказал Борис.

– Укатали, – охотно согласилась Катерина. – Тут уж ничего не попишешь. Нахлебались горького да через край.

– А теперь вот похлебай, тетя Катя, ушицы, – поставив на стол тарелку и пододвинув ложку и хлеб, предложила Нина, зная, что Кирганиха никогда не отказывается от любого угощения. Нет, не потому, что, мол, голоднѧ, а за компанию, чтобы и покалякать, душу отвести.

– А я эт-та гляжу – идѣт, подумала, что Алексей прибыл. Авось, думаю, охлопотал. Дело-то ведь какое – в Москву писать надо. Почитай, без одного сорок годков в колхозе батрачила, а теперь одиннадцать с полтиной пенсия – на таблетки не хватает...

Она говорила и говорила, ровно, без возмущения, без нажима, лишь иногда подкрепляя свою речь крепким словом; она даже не жаловалась, не искала соучастия – ей всего лишь было необходимо высказаться да чтобы выслушали. А уж если высказалась да выслушали, то и на душе легче и досада поулеглась. Она и Алексея ждала, чтобы лишь высказаться, прекрасно понимая, что все его обещания «узнать, похлопотать» – одна пустельга. Своим рациональным крестьянским умом Кирганиха давно и твѣрдо поняла, что никто в мире ни ей, ни миллионам других горемык не прибавит к пенсиям ни рубля, ни полтинника, а если уж и прибавят трѣшницу-пятерку, так всем сразу, под гребѣнку, – и об этом будут долго и громко вещать, как о манне небесной... Все понимала колхозная батрачка, но обида и досада так источали сердце, что при всяком подходящем случае она неустанно повторяла: «Сорок годков батрачила, а и весь пенсия – одиннадцать с полтиной, на таблетки недостаѣт».

Как и объявилась внезапно, так же внезапно Кирганиха и ушла, ни слова не сказав лишнего, с трудам подволакивая за собой больные ноги – рослая, прямая, отечная.

А Борис и Нина молча так и сидели за столом, на в какое-то время разрушив ход собственных мыслей, погружившись в общую нужду и скорбь. И невольно думали они о прошлом, о гнетущем прошлом, – и о горемычных и незабвенных родителях своих.

– Вот она, жизнь, – вздохнув наконец, тихо сказал Борис.

– А что жизнь? Жизнь как жизнь, она ведь всегда была сложной и будет такой.

– А то и жизнь... Вот так и потянешь под сирень «перебитые гусеницы». И дети у неё, и внуки, а так в Перелетихе одна и сидит, как воробей под застрехой. Что ли, нельзя уехать, жить у детей, чай, не выгонят... – Борис и теперь, говоря о Кирганихе, говорил о себе, потому что думы его вились только вокруг своих забот – и это Нина без труда понимала.

– У вас вот и дети есть, и внуки будут, и зарабатываете нынче не по одиннадцати с полтиной, а собираетесь, и не к кому-то, а так – лишь бы уехать... А Кирганихе и ехать есть к кому – не едет. Значит, не просто так, причина есть.

– Понятно – причина! У всех причины. Ей хочется умереть здесь, а нам с Верухой хочется, чтобы дети наши не гребились. Пусть хоть они поживут... А потом, Нина, как ведь оно может: уйдут мои мужики в армию – и привет. И кукуй старость вот так же, как Кирганиха... И об этом думка из головы не идет.

– Нет, Борис, – Нина печально усмехнулась, – тебе, как Чачин сказал бы, шлея под хвост попала, стало быть, своё на детей не сваливай. Живи так, делай так, чтобы дети остались рядом, – ты отец, ты глава семьи.

– У меня теперь Веруха – глава, как почла больше меня денег приносить – враз и голова, – с досадой огрызнулся Борис. И вдруг, именно – вдруг, он почувствовал, как внутри себя сам и заскулил – тихо, тоскливо, с повизгиванием, как скулит щенок, когда отлучится «мать»: ему захотелось пожаловаться, жалости к себе захотелось. – Эх, Нинуха... – Он прикрыл козырьком ладони глаза и запокачивал головой из стороны в сторону, и казалось, вот сейчас и прольются мужские недостойные слезы. – Ты не знаешь, у нас в Курбатихе и дом холодный, как гумно, большой и холодный... А я ведь до войны уже остался сиротой, и дом родительский толком не помню, на слом тетка и продала... У тебя здесь и стены-то хлебом пахнут, а у нас конюшня, стойло, не лежит душа, хоть ты тресни. Ну как так жить!.. Э, да что там. – Он безнадежно взмахнул рукой и полез в карман за куревом, весь как-то по-стариковски ссутулившись.

– Да-а, – только и проронила Нина. Поднялась, чтобы убрать со стола, а вернее, чтобы не вдруг и отвечать, а подумав. Погремела посудой у печи, вытерла насухо стол и наконец сказала: – А ты дом-то свой новым любовью и согрей, полюби – и согрей, да так, чтобы и детям твоим тепло было – тогда они никуда и не денутся, рядом будут, а кому уж судьба в люди уйти – уйдёт, хоть из какого тепла...

Вот это ей было давно обдуманно, выношено, это она чувствовала сердцем и верила в это. Только любовь, пусть тихая и неброская, способна помочь человеку – остановить его, смирить, удержать, задуматься о том, что ведь даже такую любовь, тихую и неброскую, возможно, нигде уже и не найдёшь. Не потому ли и человека в конце пути его тянет не в заморские края, а на родину – увидеть то, что с младенчества грело сердце, первую на всю жизнь любовь. А если не любить, сорвавшись, можно катиться и катиться, и если даже где-то и зацепишься, то всего лишь смиришься, но не прорастёшь корнями, не полюбишь, и может случиться – возненавидишь себя и весь мир... Нет, не просто улетають и прилетают птицы... Иное дело – любить разучились: своих не всегда любим, а уж что до соседей, до деревни, до земли и лесных угодий – и говорить нечего.

– А ты не задумывался, Борис, почему это людей так в дорогу потянуло, как мальчишек в путешествие? – неожиданно спросила Нина.

– А что тут задумываться: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.

– Глубже, лучше – самообман, морока. Да посуды: здесь свой дом, там – квартира, а если свой дом, то трижды хуже; здесь свой – огород, там – рынок, в лучшем случае магазин; здесь телевизор, там – тоже; здесь работа, там – работа, и рубли одинаковой длины. Так чем же лучше-то? Да ничем...

Все эти внятные доводы слышал Борис, и не раз, и он обычно не находил ничего другого, как сослаться на будущее детей – в городе, мол, иной табак. На всех такой «табак» действовал, а вот Нине Борис и теперь не решился козырнуть городским будущим детей, да и сам он в это будущее не верил.

– Так-то, может, и так, а всё ж таки город – не Перелетиха.

– И это самообман: манит дорога, а не лучшее. От корня оторвало, потому и несёт.

– Ну, ты разумная! – Борис так и вскинулся. – Тогда и скажи, почему несёт? А я тебе враз и отвечу: глаза бы не глядели на всю эту колхозную свару!.. Вот и несёт, – завершил ворчливо.

Помолчав, Нина согласилась:

– Это, может быть, даже главное... И ещё есть главное – неверие, неверие в будущее, помрачение пустотой. Вот и кажется, что по-за полем, по-за лесом пустоты нашей нет, люди, мол, там полнее живут. Только ведь пустая надёга – всюду одно, не от места зависит.

– Эка, договорились! – Борис неслышно выругался. – Что ты противник – это уж я знаю. На Лексея у меня надёга. Вот ведь Лексей выбился в люди!

– Выбился, – вяло согласилась Нина. – Давай чайку попью, а то и простынет...

Так и сидели, попивали чаёк, и оба молчали. Молчали, может быть, о главном – сам переезд уже не в счет – молчали о Ванюшке.

– Вот ведь штука! – непредсказуемо вдруг удивился Борис своей же мысли. – Тогда вваливали от зари до зари – не платили ни копейки, а теперь ведь в полсилы прежнего, а платят. Надо же! – И засмеялся...

Горькие думы о Ванюшке ещё раз скользнули в сознании – и уплыли; и вновь стало спокойно и уверенно на душе, и казалось, ничем уже не потрептать этого спокойствия, этой уверенности.

– Время, Борис, другое... да и нужда чья-то диктует... Поверь мне, близко уже то время, когда тебе и буренку на двор приведут, и покос выделят, и транспорт предложат – только держи буренку, корми себя, соседа, а излишки хоть колхозу продай, хоть на рынок вези. Потому как прогрессов без хлеба не бывает. Будет хлеб – все будет... А пока, пока задабривают разменной

мелочью. Думают этим дело спасти – не спасут. Работник ты – и есть работник. И чем больше у работника рублей, тем скорее из работников он и убежит – ну, хотя бы в город.

– Ты уж ладно, не загибай!.. По-твоему, выходит: нам и платить не надо.

– Никак ты меня не понимаешь... кто-то из нас изменился. – Нина вздохнула. – Не деньги в крестьянстве нужны, а возделанное, возвращенное, чтобы крестьянин знал – это он, его заслуга, его труд, его богатство, и чем больше – тем лучше, и чем лучше – тем лучше, и чтобы сам он и распорядился трудом своим – тогда и деньги, и товар...

– Видать, это самое, ты все же изменилась... Ты что, за кулака, что ли?

– Да не за кулака – за хозяина. При живом ребенке родитель должен быть, при живом деле – хозяин.

– А что, – склонив голову и причмокнув губами, мечтательно подумал Борис, – дали бы мне с моими мужиками, ну, гектаров двадцать земли и самую малость – «Беларусь» там, сеялку-веялку... Справились бы не хуже...

– Вот тогда ты и не побежал бы за полесье, и дети то... – Нина так и захлебнулась на полуслове – вздрогнула и радостно встрепенулась: из-под горушки, от ключиков, оскользаясь, выскочил Ванюшка. – Ванюшка идет! – И прозвучало это так, как если бы на свидании с милым она радостно удивилась: «Солнышко восходит». И тотчас метнулась к печи: – А я ему редьки с медом напарила, ох и любит он...

Борис, глядя на нее, улыбался.

Между тем Ванюшка пообтер о мокрую траву ботинки и, как мышонок, ухитрившись не стукнуть холодной дверью, не скрипнуть расхлябанными половицами на мосту, бесшумно приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы протиснуть руку с зажатым в кулачишке мокрым букетиком луговых цветов. И худенькая его ручонка, дрожащая и трепещущая, видимо, от напряжения и радости, казалось, все отчаяннее напрягалась.

– Мама-кока! – радостно выкрикнул из-за двери Ванюшка. – С праздником!

И наступил момент замешательства, всего лишь один момент, но момент этот был.

«Что за праздник? – Борис сосредоточился. – 22 мая...»

«Господи, детская простота – и не заглянул. Только бы отец не одёрнул», – подумала Нина. В два легких бесшумных прыжка она оказалась у двери, поймала ручонку с цветами и, совсем по-ребячьи ойкнув, воскликнула:

– Спасибо, Ванюшка!

Дверь распахнулась и Ванюшка, радостно похихикивая, обхватил ручонками Нину. И она тоже обнимала его, радостно повторяя:

– Спасибо, Ванюшка, спасибо, родной...

И в это время Ванюшка увидел отца. Глаза его расширились, руки опустились, весь он как будто расслабился, поник и опустил взгляд. Нина снимала с него коротенький клеенчатый плащик, тормошила его, но он так и стоял сбычившись.

А Борис пристально смотрел то на Нину, то на сына и, наверно, впервые так отчетливо и прямо понял, принял и мысленно, как заклинание, произнёс: «Нет, брат, их теперь уже не разлучить».

Глава вторая

1

Вера устала от долгой, изнурительной и тяжелой работы, от нужды и безденежья, от домашних забот и от детей, устала от мужа – хотя без всего этого и не мыслила своего существования – словом, устала и уже верила со всей искренностью души, что бабий-то век – сорок

лет. Ещё когда похоронили мать и затеяли стройку в Курбатихе, Вера твердо решила, что жизнь её отстукала свои часики и теперь лишь надо доживать ради детей. Порой казалось-думалось, что нет уже сил и желания с места двинуться, но была семья, хозяйство, работа – и надо жить или доживать, как хочешь считай, но изо дня в день работать, работать – и она работала.

К тому времени, как перебрались в Курбатику, уже не принуждали ликвидировать частных коров, однако покосов не выделяли – за потравой строго следили... А двор в Курбатихе не достроен, сена на зиму не запасли, а что и запасли – осока, картошка не уродилась, дай Бог, до новой хватило бы семье. И вот тогда, поразмыслив, и решили свести корову со двора – грудных детей нет, поросят нет, а для себя можно покупать молока в колхозе – куда как гоже.

Поплакала – жаль корову, но скоро успокоилась. Ванюшка оставался у Нины. Но именно тогда Вера, наверное, впервые так остро пережила житейскую усталость.

А потом... потом начали «задабривать рублем». Слыханное ли дело: в колхозе оплата наличными! Раков предложил Вере дояркой – на машинное доение. Она согласилась, и в первый же месяц заработала шестьдесят рублей. Это показалось чудом. Вот когда только и жить? Но, как говорится, есть лицо, а есть и затылок.

* * *

В то ненастное утро 22 мая, когда Вера невольно проснулась и, поворчав на рыбака, повернулась лицом к стене – досыпать, – она ощутила мгновенно прихлынувшую со всех сторон тревогу. Тревога была подсознательной и, казалось, беспричинной – ни за детей, ни за мужа, ни за себя – тревога предчувствия, а чего – не понять. Дыхание отяжелело, озноб ветерком пробежал по телу.

Но стукнула тихо дверь – и Вера резко смахнула с себя одеяло.

В тревоге она смотрела поверх занавесочки в боковое окно – так и есть: пошел в деревню, за бутылкой. И точно уходил не Борис, не её муж, с которым они прожили под одной крышей более двадцати лет, и в комнате рядом спят не их сыны – и вообще жизнь эта только помстилась в рассеянном или больном воображении... Что происходит, с ним – что?

Первое желание: одеться, бежать следом, догнать, остановить... А потом уж и посрамить эту торгашку, коя ни свет ни заря спекулирует зельем.

Вера метнулась в горницу, сорвала со стула халат, да только так с этим халатом в руках и застыла: куда, зачем бежать, ловить за рукав мужа, учинять сором, зачем же мужа-то славить – или он пьяница, или не семьянин, или только о себе печётся – тогда на ком всё и держится?... Господи, да можно ли так-то мужика губить, когда и сам гибнет.

Боже, Боже, что они оба видели, кроме нужды и лишений? Слезы, немилосердные нужда, голод и тяжелый подневольный труд. А потом дети – и новый круг лишений... И все-таки жили, и жизни радовались, и согласны были бы вот так до конца и прожить, лишь бы войны не было – вот оно, рабство холодной войны, рабство угрозы, просто рабство – страх... И Борис, добрый семьянин, любимый и любящий муж, никогда не унывал, а уж выпить лишнего – нет. Казалось бы, и нужды пережили, и утраты пережили, и стройку смогли – перебрались в Курбатику, но обрушились на мужа две пагубы, одна хуже другой: стал хмуро пить и впадать в затяжное уныние... А может, переезд страшит – города боится. Так ведь, напротив, загорелся... Господи, да что с ним?!

А Борис почувствовал и пережил уныние ещё в Перелетихе, при жизни Лизаветы. Тогда он вдруг уяснил, что надо обрубать корни, сниматься с места в любом случае – и это от него уже не зависит... Стройка и переезд, казалось, заслонили всё. Перебрались в Курбатику, а уныние – как двойник, как тень, следом: то дом холодный, то работа не та, а теперь и вовсе прилипла нуда – уехать.

У Веры протекало иначе: сначала она пережила невозможную усталость, когда же наконец перевела дыхание, то вдруг увидела, что и постарела, и одета по-нищенски, и в доме, кроме стола да табуреток, нет ничего. И как так жили, и как так жить? Нет, надо что-то менять, и уж тем более когда такая подмога в городе – Алексей, не сегодня завтра из комсомола в райком партии... И уже казалось, что уныние и неудовлетворенность исчезнут лишь с переездом в город.

Вера подняла взгляд и не тотчас поняла – что такое? В дверях боковой комнаты стоял Ванюшка – разомлевший и ещё сонный, с широко раскрытыми глазами. И Вера, забыв, что халат её у неё на коленях, улыбнувшись, невольно потянулась к сынку.

Ванюшка бычком ткнулся матери в грудь, на мгновение замер, и, вздохнув глубоко, тихо сказал:

– С праздником, мама...

Вера растерялась и даже не нашлась что ответить. «Господи, да в кого ты у нас уродился», – подумала она, и острое чувство стыда кольнуло её сердце, и тревога вдруг представилась именно недобрым предчувствием, связанным именно с Ванюшкой. Она крепче прижала к себе сына и, целуя его голову, так отчетливо и ясно вдруг представила: стоит лишь отпустить от себя малого, как с ним тотчас и случится что-то невероятное, и не понять – страшное, губительное или чудесное и радостное.

– Сыночка, – наконец сказала она просительно, – ты только учительницу не поздравь с праздником. Да и какой праздник – такие-то праздники каждую неделю, этак ведь и вся жизнь в праздники обернется... А ты сходи, сходи, куда проснулся, мы с тобой вместе ещё и поспим...

Ванюшка так и льнул к матери, и подрагивал, и похихикивал тихонько, тычась лицом в подушку. Его пьянил неповторимый и такой родной с незапамятных времен запах материнского тела, и ему было радостно жить – и это тоже воспринималось праздником.

А мать играла с ним: поглаживала, легонько прихватывала зубами то ухо, то щеку. И ей было празднично, однако тревога не выходила из сердца.

Сын нежился, сын льнул, но стоило ему на минутку прекратить возню, как он, уткнувшись носом в бок матери, почмокав губами, уснул.

А Вера теперь уже думала не только о Борисе и о переезде в город, думала о Ванюшке и Нине.

2

Вера знала сестру куда как хорошо. Она всегда была первой, кому доверялись тайны. Нина советовалась с ней даже о том, о чем не советовалась с матерью. Только ведь чужая душа – потемки: ускользнула младшая сестрица, обернулась тайной – её точно подменили – и все это после похорон матери, после того, как Нина осталась в Перелетихе одна. Первые годы Вера чаще смотрела на сестру как на воспитательницу Ванюшки, и оценивала её, и судила о ней – через сына: хорошо сыну – и Нина хороша, и все хорошо.

А Ванюшке, правда, было хорошо: елось и пилося сладко, спалось мягко, жилось легко. И всё бы ладно, да только вот Нина замкнулась – и Ванюшка заодно. Улыбчивый, ласковый, а скрытый. Бывало допытывается отец: куда это вы ездили на две-то недели, где были, что видели? – молчит сын, плечами пожимает да улыбается. Лишь однажды рассказал: в Москве были – в метро катались, в зоопарк ходили. А куда ещё ездили – оба молчали: наша, мол, тайна, секрет. Но ведь и в этом дурного нет ничего. Зато Ванюшка из-под крыла крестной изо всех детей в классе выделялся – он да ещё дочка Ракова.

Радовалась Вера за младшего, но и тревожилась: а ну как совсем отобьется от дома. Но тревога эта исходила из самолюбия: вот ведь как, от матери-то родной... Однако тревога жила,

тревога не уходила, и когда явилась мысль уехать из Курбатиhi, Вера поделилась тревогой с мужем:

– Ой, Борис, мил-человек... заждалась, рассудить надо.

– И рассудим. Об чем только вот – не знаю, – шумно вздохнув, ответил Борис. Он только что пришел с работы, усталый и в сомнениях. Весь день из головы не выходил разговор с шурыком. Алексей давно уже и о чем угодно говорил так, что перечить ему было бы нелепо: и родной, и с житейским опытом, да и то не шутка – первый секретарь райкома комсомола. А тут как обушком по голове: «И что ты, Борис, нашел в этой Курбатиhi – полсотни рублей в месяц? Да у нас вон девки после школы на «Автоприборе» по сто двадцать и в белых халатиках ходят. Продай ты свой дом, за эти же деньги и купишь в городе – живи городским, и мужикам твоим перспектива». Вроде бы пустые слова, а как соли на рану. Толком тогда ещё и не поговорили, а думка уже запала: бросить все – уехать. Вот и думал. Когда же с женой думами поделился, то и вовсе опешил: она точно всю жизнь только и ждала этого предложения – едем, хоть завтра. И не понял тогда Борис, что с сестрой Алексей всё уже давно обговорил.

– И что же ты молчишь? Или мужики что там натворили?

– Нет, бабья страда... Вот я об чем думаю: Ваня-то наш все с Ниной-мамой. А ну как прилепится – и не оторвешь... Оно и гоже ему. Только вот нечет: наш ребенок-то. А вырастет, за отца с матерью и почитать не станет. Не зря же говорят: не та мать, что родила, а та – что подняла.

Борис улыбнулся, вяло, снисходительно:

– А ты полно-ко, мать. Всю зиму малый дома жил. Да пусть рыскает... А потом, Вера, у нас-то их трое, а у нее – никого. Одной-то тяжело. – Борис замолчал, и вся боль и грусть душевная отразились на его лице – и лицо его на какое-то мгновение было прекрасным. – А я и вовсе не против, хоть как сына воспитывает. Скольких так-то воспитали: и одинокому утешение, и семье не урон. А под старость лет, глядишь, и Нина не останется бесприютной.

Вера заплакала. Она и сама обо всем этом не раз думала, и до слез бывало жаль Нину. И не диво ли, как рано они обрядили Нину в старые девы – до тридцати. Но так уж представлялось – печать одиночества была уже запечатлена.

– Ты что говоришь... И не говори так, она ведь родная, она ведь вместо дочери нам была. Экий ты – бесприютная.

– Или мы вечные! – Борис приобнял жену и легонько привлек к себе. – Пока мы живы – так все вместе. Но мы, чай, старшие, наперед в ящик-то сыграем. Вот она тогда и пригреется возле Ивана, он и станет ей вместо сына, вот и не одна... И что расхлюпалась, глупая. Глаз-то у баб, факт, на мокром месте.

– Так, Нину пожалела, – все ещё всхлипывая, но уже и улыбаясь, ответила жена.

– Да что ее жалеть! – Борис и вовсе развеселился. – Это тебя жалеть надо – с четырьмя мужиками воюешь. А Нина живет себе без заботушки – и радуется солнышку. Навозилась она досыта с нашими, а теперь Ваньку уму-разуму учит...

– И верно, правду говоришь – так, – раздумчиво согласилась Вера...

И уже тогда Вера и Борис согласились: в случае чего, младшего можно и вовсе передать Нине на руки... К согласию-то они пришли, только Нине об этом согласии и словом не обмолвились – дело, мол, серьезное, нечего заранее колготиться.

3

Слышно было – кто-то из большаков проснулся.

Вера ещё с минуту лежала неподвижно – пережитые думы проплывали неярким видением. Наконец она осторожно высвободилась от Ванюшки; и ещё через минуту, уже прижав волосы и ополоснув лицо, была в деле. Хотя и всех-то дел – приготовить поесть.

Она подметала пол и только теперь увидела, что ботинки большаков так и стояли с вечера грязные: ну, лодыри, ну, лень перекатная – ничего не хотят делать.

– Ме-е-е, маменькин сыночек, – уже завязавшимся баском прогудел Петька.

Вера заглянула в горницу, и в то же время Федька, вышедшие следом за братом, звучно поддал ему под зад ногой: заглохни – не буди! Петька развернулся и врезал брату не менее звучно кулаком по плечу – ежеутренняя разминка началась. Жалея Ванюшку – разбудят, мать с веником в руке ринулась на большаков: одному, другому по спине, по спине, да не мякишем – будылем, будылем. Сыновья, погогатывая, как лоси от охотника, метнулись к умывальнику. И здесь, пока умывались, поназдавали друг другу тумачков. Но здесь уже мать не вмешивалась в самовоспитание.

Большаки добивали девятый класс – но уже теперь можно было сказать, что дальше школы парни не пойдут. «Не в коня корм», – как определил отец... Но родительское сердце радуется любому ребенку, лишь бы не больной, лишь бы не болел, а всему остальному оправдание под рукой – вот оно: каждому своё.

Федьку с Петькой не только двойниками, но и просто братьями со стороны не назвать – столь рознились и по внешнему виду, и по характеру. Петька худощавый, большеносый, с удлинённым лицом – сам в себя – вымахал уже выше матери, а Федька на полголовы ниже, но крепче, ухватистее, и лицо скуластое – в Сиротиных пошёл. Петька простодушный и откровенный, Федька – своевольный и упрямый. И всем бы хороши парни, но оба ленивые, как два старых мерина. Вздыхают родители – и в кого; что ли, сами и виноваты; так уж воспитали? Но и это – оправдание, хотя, может быть, нежелание перекладывать вину на общественные плечи. И верно: приучить детей к труду и трудолюбию – долг прежде всего отца с матерью. Да только как быть, когда и это – явление общее, может быть, за редким исключением – и такое исключение росло перед глазами: младший, Ванюшка, – трудолюбивый и безотказный.

Родители, хватившие советского горького до слез, глядя на своих детей, прежде всего думали: «Господи, да неужели и им наша доля?» И это звучало как клятва: положить все свои силы, но чтобы детям жилось легче. Вот так же нередко мы твердим: все что угодно – лишь бы не война. Тоже понятно, потому как нет ничего безумнее, чем война и ее результаты: скажем, двадцать миллионов убитых, столько же изуродованных, калек, а в итоге... Но ведь если в человеческую природу заложены зло, вражда и если предопределены войны, то эти войны никак не зависят от того, что мы согласимся на что угодно, лишь бы не война. «Что угодно» – само собой, а война сама собой – она разразится в определенное ей время, а до того ею, как жупелицей, будут пугать народы, чтобы эти народы были согласны на «что угодно» – и это по-своему тоже война власти с народом.

И вот как только появилось в Курбятиках и Перелетихах окошечко-послабление, так появилась возможность и побаловать. А послабление это было не само по себе: стали за труд платить. Однако тотчас появились и возобновленные запреты с посулой в 1980 году коммунизма. И нет крестьянину покосов – не надо косить, нет надобности в ребячьей подмоге, нет коровы – не надо и двор чистить, а если уж и огородишко кулем рогожным покрыть можно – детям и вовсе делать нечего. И если трудятся за живые рубли, а общее дело вовсе не интересует, то уж и дети на любой труд, тем более если этот труд неоплачиваемый и бестолковый, посмотрят не иначе как на принудилровку... Так и складывается: если уж отец поднялся ни свет ни заря – и, как мальчишка, рванул с удочками на Имзу; если мать лежит в постели до нуды, тут уж не взыщите – дети с вечера обувь мыть не станут...

Смотрит мать на сыновей да украдкой посмеивается: оба перед зеркалом так и петушатся – прыщички давят, непослушные волосы щеткой задирают: ни дать ни взять – женихи.

– Эй, мужики, хватит там хвосты распускать, – наконец окликнула мать. – Идите есть, не то и в школу не успеете.

Схodu за стол – и за ложки: каша гречневая – сгодится, с молоком – сойдет. Молоко колхозное – не беда, зато дома с навозом и сеном не возиться.

У большаков за ушами трещит, а у матери сердце радуется: одеты, обуты, сыты, не ломаны и школу в следующем году завершат – всё очень и славно.

– Мам, а куда лучше идти отрабатывать, неделя осталась, можно с первого июня, а? – Это Петька.

– А где больше заплатят.

– Эге, больше заплатят! Везде одинако – пятерку за практику, а то и вовсе ничего.

– Вот на «ничего» и отрабатывайте. Я всю жизнь за «ничего» лямку тянула, а теперь пусть дураков поищут.

– А я тебе что говорил... Большой, а без гармонии. – Это уже Федька. – Грибы пойдут – на вениках в лесу и отработаем.

– Вы сначала прошлогодние пожгите – все ведь сопрели, так валом и преют.

– Это дело Ракова, наше дело – наломать.

– Мам, а мотоцикл летом купим?

– Много захотели: и телевизор большой, и мотоцикл – на какие это шиши?

– Ну вот, а обещают ведь, обещают – нехорошо родных детей обманывать, – вновь Петька.

– Вот заработаете – и купите.

– О, это когда!

– А тогда. В армию заберут – там и будете на мотоциклах гонять.

– Не, мам, там не на мотоциклах, там на пузе – по-пластунски называется.

– Кончай кукарекать, пластунский. – Это уже Федька. – Пошли, контрольная сегодня, забыл, что ли...

И поднялись, и пошли добрые молодцы писать контрольную, а уж если точнее – списывать, изгонять из головы останную живую мыслишку. И никогда-то им эта контрольная не приснится – лучше бы во дворе корова, лучше бы навоз во дворе, лучше бы за плугом попотели добрые молодцы... Но улыбается мать, глядя им вослед: экое мужичье, мотоцикл подавай... Вскормили, слава Богу, подняли – женихи!

4

Проснулся Ванюшка – улыбчивый, тихоня – и голову склонил, трет кулачком свой мягкий широкий нос... Мать и по головке погладила, и к умывальнику проводила. Ах, Ванюшка, вымыты с вечера ботиночки у малого и щеткой почищены – стоят рядом... Или не быть ему добрым молодцем?

Мать и творожку со сливками выставила, и яичко свежее сварила – ах, ты ласковый теле-ночек!.. И только за чай взялись, как под окнами остановилась серая «Волга» – персональная Ракова, сам он и за рулем. Хлопнул председатель дверцей, глянул по сторонам и неторопливо направился к крыльцу.

«Пошто это его принесло?» – подумала Вера; поправила волосы и застегнула на груди пуговичку халата.

– Хлеб да соль, – вошел, несколько сумрачно приветствовал Раков.

– Едим да свой, – бойко ответила Вера, повернувшись навстречу, но даже не намереваясь подняться со стула. – Садись, Николай Васильевич, чайком побалую.

Не ответил Раков обычное: «Вода мельницу ломает», – промолчал, прошел к столу и сел на свободную табуретку... Был он уже не тот, не прежний главный агроном, тридцатилетний красавец Раков. Годы сказались, да и председательская лямка уже натерла шею: он расплнел, виски поседели и одрябла кожа под глазами... Лишь на мгновение председатель задумался, но

такая тоска, такое сквозящее одиночество вдруг отразились на его лице, что даже Вера тотчас поняла: а так таки и не сложилась у него семейная жизнь.

– Чаю-то налью, – вновь предложила Вера, выводя председателя из оцепенения. Раков легонько встрепенулся и, похоже, только теперь заметил рядом сидящего Ванюшку: какое-то время они смотрели друг на друга, и у обоих рты растягивались в улыбке... Замечала Вера и раньше, радуясь и удивляясь: даже незнакомый прохожий будь он и хмурый, но если глянет на Ванюшку – непременно и улыбнется... Вот и Раков – сидел и улыбался, и глаза его отсвечивались добрым светом.

– Ну что, Ваня Сиротин... – И провел широкой ладонью по детской головке. И голос, и доброе движение руки выдавали чувство и мысль Ракова: «Эх, такого бы мне сынишку... нет уж, теперь не будет, какими мы друзьями стали бы. Нет наследника. Да и наследовать нечего. Какой же ты, Ваня Сиротин, парень славный, вроде ни на кого и не похожий».

Ванюшка скользнул со стула и, как вода из сети, ушел из-под руки: улыбнулся виновато и юркнул в горницу. А Раков вновь заугрюмился, чуточку ссутулившись над столом.

Вера ждала – не чай же пить приехал председатель.

– Алексей позвонил... Завтра, что ли, приедет с ночевой...

Кивнула в ответ: не велика новость, мог бы председатель и не заходить, с кем-нибудь передал бы.

Продолжая о чем-то неведомом думать, как о деле давно решенном, Раков спросил:

– Когда подниматься-то собираетесь?

Теперь стало ясно: Алексей раскрыл председателю их затею, и Раков зашел удостовериться или уговаривать. Ошиблась Вера: и мысли не было у председателя – уговаривать.

И все-таки Вера проникла в состояние Ракова – и даже посочувствовала ему, пожалела председателя. И это было новое чувство в крестьянской душе.

– Когда и куда?... Надо и это знать, – проговорил Раков.

– Когда-нибудь куда-нибудь, – без раздумки ответила Вера, хотя скрывать ей было нечего, не те времена, чтобы хорониться – справку не просить. – Наверно, в район, к Алексею. А когда? Может, завтра.

– Если выбирать, так уж хоть город покрупнее... Чтобы и работу выбрать денежную. А то все те же рублишки – шило на мыло.

– Была бы, Николай Васильевич, шея, а хомут везде найдется. Да и не только из-за рублишек думаем, о детях не след забывать.

– Дети, дети... Не поздно ли, старшим-то через год в армию.

– Что ли, и жизнь на армии кончается?

– Не кончается... И младший ваш – парень что надо, есть в нем что-то такое, а что – не знаю... И мне за дочку беспокойно. – Расправляя плечи, Раков вздохнул. – А знать мне хочется, почему все-таки и последние в город бегут?... Что ещё-то надо?

– Так ведь, Николай Васильевич, у каждого своя нуда. У вас одно, у нас другое... А, смотри, Васянька Воронин и вовсе из города назад перебрался. Всяк теперь выбирает, где ему лучше.

– А как и узнать, где лучше?

– А карман да брюхо подскажут, где лучше, – прямо-таки с вызовом выдала Вера, на что Раков тихо, добродушно засмеялся:

– Это точно – подскажут.

– Вот я и говорю: сколько мы годков за так-то робили! Эх, много... Так хоть детей избавить от такой кабалы. Да и для себя немного пожить. Чёрт ли тут видишь? Работа да печка. Хозяйства своего нет, так уж и ничего нет... Свободное времечко выпало, вот и задумались. Пока совсем не огрузли, только и подниматься, а то, гляди, и сил не хватит.

Раков промолчал. И ощутил он, как шелохнулось в груди давнее, а потому уже привычное чувство стыда: не диво ли, как человек, как председатель, он полагал себя виноватым перед деревенскими бабами, особенно перед теми, которые уже отработали своё и теперь получали пенсии: по двенадцать – пятнадцать рублей в месяц.

* * *

Ванюшка уже не раз выставлял из-за двери свою плутоватую, но бесхитростную и доверительную мордашку. Наконец он вышел в переднюю и с независимым видом прошуршал к двери. Здесь он надвинул на ноги ботинки, снял с гвоздя хрусткий плащик и юркнул в дверь, видимо, не надеясь, что его не заметят, но надеясь, что не спросят или не успеют спросить – куда? И расчет оказался верным.

И Ванюшка, всем и вполне довольный, улизнул. И когда он вышел через огород к луговой стёжке и глянул за Имзу, за луга, за горушку, где на юру виднелись осиротевшие домишки, сердце детское радостно встрепенулось. Точно козлёнок он подпрыгнул на месте – и побежал через луга, и колокольцем раскатился его радостный смех. Бежал Ванюшка и кланялся земле, срывал мокрые цветочки – голубенькие, замокшие, – складывал их в букетик для мамы-коки, и букетик этот казался ему красивым и радостным.

* * *

– А Нина не собирается уезжать? – неожиданно спросил Раков.

Глава третья

1

И все-таки уехали бы, наверное, Раковы из Курбатиhi, если бы не случай теперь уже шестилетней давности...

Медпункт размещался в небольшом бревенчатом домике о двух комнатках: в передней велся прием больных, во второй комнатке шкаф с медицинскими инструментами и материалами, платяной шкаф и кровать для экстренных больных – случись досрочная роженица или другая напасть, и тогда эта комнатка становилась палатой-стационаром до тех пор, пока не увозили больного в райцентр.

Прежде работавшая фельдшерица так и осталась на своем месте, но уже в роли помощницы Валентины Викторовны, врача с высшим образованием. Работала при медпункта уборщицей, санитаркой и истопником и ещё заботливая душа – Юлия. После того как в Перелетихе закрыли школу, Юлия с семьёй переехала в Курбатиxu. А так как её чрезмерная полнота зрела не от здоровья, то и предложили ей опять же дело полегче – в медпункте.

И вот, собравшись с утра и сделав всё необходимое по работе, женщины затевали или чаепитие, или же устраивали посиделки, нередко с рукодельем – и здесь уж главенствовала не медицина, а женщина. Говорили о болезнях, о колхозных делах, о ценах на рынке и о дефицитных товарах, говорили даже о модах, о детях и, уж конечно же, о мужьях, об их достоинствах, а чаще – о недостатках и пороках.

– А мой-то, мой – что учудил, срамник! – однажды, посмеиваясь, рассказывала Юлия. – Поехали мужики в Никольское за семенами, что ли, да и припозднились, с ночевой, значит. Взяли пол-литра к ужину, выпили, губу-то и разъело. Туда, сюда, а сельмаг закрыт. Нашей здесь только дай прикуп – она тебе хоть в полночь выставит. А там – нет. Хозяину говорят:

сходи, мол. А он никак. Говорит, торгашка старая дева – хуже ведьмы, не подступишься. А мой возьми да и брякни: вот, мол, и пошли сватать, она и бутылку выставит – не за свои же деньги, за наши. И пошли ведь милые, ну, что ли, не охальники... Спрашиваю, за кого хоть сватали? Да за меня, говорит, и сватали. Ах, окурок, говорю, ты старый, тебе ведь за пятьдесят! Ржёт милый... Сначала, говорит, не верила, а потом вроде и поверила – сватают... Признались: так, мол, и так – внуки в Курбатихе ждут... Эх, мужичье, ну, басурмане, избаловались на нет...

– Да уж да, поизбаловались, – вздохнув, согласилась медсестра Шура, хотя у неё-то в семье всё было в порядке.

– Не только мужчины, а и женщины – все развратились. Такова теперь жизнь. Я вот никого и не сужу и себя судить не позволяю, – прикрыв глаза и улыбаясь с достоинством, говорила Валентина Викторовна. – Я вот в городе жила, а мой здесь один – куда уж тут денешься, живой человек, потребность-то естественная. – И сказала это так безвинно, бездосадно, даже с безразличием – и затаилась, отведя взгляд: бабы, авось, народ языкастый.

– Николай-то Васильевич человек степенный, – как бы предупредила любые пересуды Юлия. – И не пьёт зря, и по бабьей части стороннего не позволял, хотя и видный мужчина...

– Ну, ты, Юля, будто следишь за каждым – все-то знаешь.

– Так ведь у нас шила в мешке не утаишь – всё видно.

– Вот и так. Ухаживал же Николай Васильевич за Нинкой Струниной – и всяк знает. А уж как там да что там – это под замком.

– Зря ты, Шура, зря Нинушку приплетаешь. Я-то уж её от рождения знаю. Нинушка, как холстинка белёная, тут и калякать зря нечего.

– А я что, а я и ничего дурного, – попыталась спохватиться Шура. Но Валентине Викторовне уже и сказанного было достаточно.

С того дня и начался затяжной сыск.

* * *

Цену себе Валентина Викторовна знала. И управлять собой умела – зря не опростоволосится. Но было в ней два перебора: недоверчивость и мнительность. То ли это от природы дано, то ли отсутствие должного воспитания сказывалось – бог весть. Ведь сегодня в большинстве семей родители и не предполагают, что детей надобно воспитывать, существо неразумное делать не только разумным, но и нравственным. Как плодое деревце непривитое вырастает дичком, точно так же и новые поколения наши преимущественно – дички. И крепки, как правило, и долголетние – а дички: ни тебе личной нравственности, ни тебе общественного катехизиса – потому что духовно помрачились. Стадное воспитание. А стадо понимает только силос да кнут, все остальное для стада – блеф. И мечется человек, и страдает, а вот почему – не поймет, потому как ответ был бы направлен против себя – дичок.

Кроме Ракова-мужа знавала Валентина Викторовна и других мужчин. Но в большом городе такое тонет, как в морской пучине ветхая плоскодонка, в городе из «знавала» молва редко вызревает. Видя, как все это просто и доступно, Валентина Викторовна и раньше, в городе, ни часу не верила мужчине Ракову. Её будто не покидала мысль: куда-то бежит, кто-то у него есть – и это казалось для неё настолько естественным, что она, подозревая, лишь твердила: пусть, только бы не знать... Но стоило ей, бывало, перехватить на ком-то взгляд мужа – будь то подруга или жена приятеля, – как в голову ударяла ревность, и удержу её фантазии уже не было: а как, а что, а где?..

А тут прямо и сказали: ухаживал за агрономшей Струниной. Нахлынуло, как половодье. И если бы Валентина Викторовна не умела таиться, то незамедлительно грянули бы громы и молнии. Но ей надо было знать все, и она исподволь, осторожно повела свое тайное следствие.

Прошёл месяц, второй, и она уже не сомневалась, что агрономша – до сих пор в любовницах у мужа и не случайно эта «мартышка», так она ее уже вскоре окрестила, засела там в своей развалюхе, от глаз подальше. И только тогда, люто возненавидев любовницу, Валентина Викторовна взялась за мужа. В ход была пущена вся женская изощренность и изворотливость. И в какой-то момент Раков понял – его обкручивают, заманивают, ловят, опутывая сплетнями, как тенетами; сначала он смущался, затем бледнел, затем гневом налились его глаза, и он сказал, наверно, даже слишком резко:

– Ты её оставь... Ничего не было и нет. И отмежуйся.

Но вот эта решительность – «оставь», «отмежуйся» – как соль на открытую рану.

С того дня начались открытые попреки – всё, что в конце концов оборачивается скандалами и делает семейную жизнь невозможной.

Все шло к тому: или вторично разводиться, или уезжать из Курбатиhi. И это в то время, когда Раков, уже как председатель колхоза, влез в хомут – принял хозяйство и определил свою деятельность.

2

Просёлки и пешие тропы ещё не рушились, но уже охребетелись, обледенели – снег по сторонам подточило и уплотнило ранними дождями. Ни зима, ни весна – безвременье. Даже Ванюшка, тогда ещё совсем малыш, чаще отсиживался дома. А Нянька всю последнюю неделю еле ноги волочила; и такая-то тяжесть во всем теле – силушки никакой. Ни температуры, ни кашля, ни других признаков хвори, а вся, ну, на исходе. Она и травку заваривала, и таблетки глотала – никакой помощи, а идти к Раковой было бы так стеснительно, впору хоть умереть. И откладывала день за днём, надеялась, что само собою и обойдётся.

Не обошлось.

Ночью поднялась температура, жаром точно опалило губы; под утро начала мучить жажда, но когда Нина поднялась, чтобы напиться, её так и мотнуло в сторону, и хуже того, сначала она почувствовала, а затем и увидела, как по ногам потекли почти черные струйки крови. Перепугалась, вовсе обессилела, легла в кровать. Жар, видимо, был так высок, что вскоре и страх, и слабость точно куда-то уплыли, а взамен прихлынула умиротворенность – Нина как будто уплывала в приятном угасании.

– Нянька, Нянька, ну что ты, Нянька, ну, проснись, Нянька, не плачь. – Ванюшка широко раскрытыми в страхе глазёнками изо всех сил тормозил крестную. И она попыталась даже подняться – и вот тут-то Ванюшка и увидел, что вся постель под Нянькой в крови. Ванюшка сжался и тоненьким голосочком заскулил: – Нянька, у тебя кровь... Нянька, ты умрешь...

– Ванюшка, миленький, – тихо наставляла она, едва шевеля спекшиеся губы, – беги в Курбатиxu, к тётке врачихе... скажи, что я заболела, встать не могу – пусть придет... и дома маме Вере скажи... беги, Ванюшка, беги скорее...

И в детском разуме, видимо, четко обозначилась беда. И всё теперь воспринималось просто и ясно: Нянька умирает, и только он, Ванюшка, может ее спасти, а для этого надо бежать в Курбатиxu за врачихой.

И Ванюшка побежал – напрямик, через луга, по обтаявшей и обледенелой горбатой тропе. Он поскользнулся, срывался, падал, проваливался в зернистый снег, обдирал руки, но поднимался – и вновь бежал, бежал... Эти три километра запомнятся ему на всю жизнь, и когда он будет уже юношей, не раз с удивлением повторит: «Ну и марафон был! И в голове, как колокол: умрет!...» А когда он почувствовал, что силы покидают его, ноги подкашиваются, потом заливает глаза, он тихонько заплакал-заскулил, но и тогда все-таки бежал и бежал.

Тропочка выводила напрямиком к медпункту, точнее – к сельмагу, но и медпункт – вот он – рядом.

Ванюшка открыл первую дверь, подергав за ручку, открыл и вторую, более тяжелую, переступил порог, но уже сказать ничего не мог – и задохнулся, и слезы не давали выговорить слова.

– Ты что, мальчик? Что случилось? – Валентина Викторовна в приталинном халатике, в белой шапочке с приколкой, в меру подпудренная и подкрашенная, буквально ослепила Ванюшку. Она склонилась над ним – в лицо ей так и шибануло загнанным потом. На груди из-под пальтишка струился парок. И тогда она тряхнула его за плечи: – Говори: что случилось?!

– Нянька... померла...

– Какая нянька? Где померла? – А рука уже тянулась к вешалке.

– Кока Нина, – обессиленно произнес Ванюшка, – в Перелетихе...

И если бы Ванюшка был постарше, он непременно заметил бы, как посуровело лицо этой красивой тети: она выпрямилась, уронила от пальто руку, легонько покусала розоватыми зубами верхнюю губу и отошла к столу.

– Что с ней? – телефонно спросила она.

– Сказала, встать не могу. – Ванюшка в страхе вспомнил окровавленную постель. – Вот крови по кех. – И провел рукой себе поперек груди. И вновь тихо беспомощно заскулил.

– Понятно, – механически подумала вслух Валентина Викторовна, и про себя: «Понятно, ковырнула мартышка... ну, я тебе устрою химчистку».

Она подумала, что надо бы взять председательскую машину, поехать, но тотчас и отмела эту идею – он будет знать... И мальчишке, решила она, нечего там делать, пусть домой идет. И, резко щёлкнув медицинским саквояжем-аптечкой, начала одеваться...

В пути Валентина Викторовна настолько воспалила свое жгучее воображение, что гневу ее, казалось, не будет удержу. Даже в мыслях она жестко доказывала свою правоту – истязала «мартышку», стирала её в порошок и нравственно, и физически. «Лошадиную дозу магнезии, пусть как червяк на огне покрутится». – И злоба застилала свет, и не понимала она, что и гнев её, и радость предстоящей мести идут из пустоты и бессилия – ведь если всё так, значит, муженек-то дома – в нагрузку, по долгу службы... Потому-то вместе с ненавистью в душе её кипели и бабьи слёзы.

Она вошла в избу, как входит хозяин в конюшню, в хлев: ногой отбросила упавший веник, прошла к столу, швырнула на стол саквояж-аптечку и, вздернув подбородок и приопустив на глаза веки, с медлительной нетерпеливостью прошла в боковушку, откуда доносились непредсказуемые звуки.

В бедной тощей постели что-то одновременно возилось, постанывало, поскрипывало. И Валентина Викторовна не тотчас разобрала, где голова, где ноги больной. Но первое, что толчком ударило ей в голову: это вот здесь-то он и промышляет...

Наконец Нина откинулась на подушку, и её судороги стали угасать. И только теперь Валентина Викторовна поняла: «мартышка» пыталась вытянуть из-под себя простыню, но сил не хватило.

И теперь их глаза сошлись, взгляды скрестились, но слишком уж неравное было положение.

«Ну что, опросталась от излишеств? Это тебе так просто не пройдет. Хочешь, я тебе сейчас своими руками так вычищу, что от тебя одна оболочка останется!.. Ты думаешь, я ревную? К кому ревновать, или мы равны, ты посмотри на себя – грязный ком в куче грязных тряпок», – это или примерно это говорил её взгляд.

А Нина была в состоянии лишь умолять.

Далее по сценарию Валентины Викторовны действие должно бы развиваться беспощадно. Скажем, для начала обнажить соперницу, потому что мало что ещё так унижает, как

беспомощная обнажённость перед посторонним человеком, затем устроить, скажем, допрос и ненужное кипячение шприцев, а потом...

Валентина Викторовна с брезгливостью прихватила за край одеяло и резко отбросила его в ноги – и остолбенела: месиво, слякоть. И все-таки она пересилила вдруг хлынувшее в душу сочувствие – да и что кровь, повидала она крови! – и, скривив рот, как шилом под ребро – сказала:

– Сама, что ли, ковырнула?

И минутное оцепенение.

«Ну что, получила – это для начала» – так и хлестала взглядом победительница.

А до Нины за эту минуту только и дошёл смысл сказанного. Ни слова в ответ, лишь веки задрожали да крупные слезы стекли по щекам.

Валентина Викторовна неспешно вышла. Хотела действительно поставить кипятить шприц и заняться допросом, но электроплитка на глаза не попала, и тогда она надела резиновые перчатки, открыла дверцу небольшого шкафа – стопками там лежало проутюженное белье – и вытянула чистую простыню...

Что там произошло – можно лишь догадываться. Только слышно было, как Валентина Викторовна ойкнула.

С минуту она стояла, подняв руку с пятнышками крови на кончиках пальцев, точно в испуге отстраняясь от больной. По лицу её тенью прошли точно пигментные пятна, а в голове навязчиво толкалась старая студенческая «плоскость», уже готовая сорваться с языка: «Сестрица, милочка, да ты как сейф под пломбой!» Только язык не поворачивался; лицо ее сморщилось, глаза поплыли вниз – казалось, вот-вот и послышится скрежет зубов... Нет, не послышался. Она чуточку склонила голову и громко сказала:

– Прости меня, Нина, простите... Я думала плохо. Прости...

Когда прибежала перепуганная насмерть Вера, то уже застала полный порядок: переодетая, в чистой постели лежала Нина, как осенний лист, казалось, в беспамятстве, а рядом с кроватью на стуле вся беленькая, аккуратненькая сидела Валентина Викторовна. Рядом на табуретке шприц и тонометр.

Не то чтобы Нина и Валентина Викторовна после случившегося стали подругами, но при встрече они улыбались, здоровались, а главное – в семье Раковых прекратилось следствие, прекратились стычки. С тех пор до времени уже не возникал вопрос о новом разводе или отъезде из Курбатиhi.

3

Ракову стало легче жить. Восстановились добрые отношения с Сиротинными-Струниными. И уже будучи председателем колхоза, задумываясь о крестьянской семье, как об основе основ, отмечая и учитывая перспективные семьи, под номером один в своей тетради он поставил – Сиротины.

Была у председателя и мечта: организовать при колхозе техническое училище, чтобы на месте и готовить механизаторов и ремонтников. Но из этой затеи ничего не получалось, и теперь уже ясно было – не получится. Тогда Раков установил живую связь со школой. Всю зиму и председатель, и главные специалисты колхоза проводили беседы со старшеклассниками; школе прирезали три гектара земли под опытный участок – учись любить землю. Ввели сельхозпрактику – помощи не ждали, главная цель – приучить, заинтересовать, удержать...

Главы семей, как правило, хорошо принимали и понимали председателя. Он говорил о пережитых деревней лихолетьях – с ним соглашались: вздыхали, вспоминали случаи из личной жизни; он говорил о новой пагубе реформ пятидесятых – шестидесятых годов – с ним соглашались: да, наломал Никита дров, – но уже и посмеивались; он говорил, что теперь все изме-

нится, после Мартовского пленума, после введения денежной оплаты, что уже и теперь жить можно – с ним соглашались: жить можно; он говорил, что через пару лет и дети возмужают или внуки, рядом с отцом и матерью поднимутся добрые помощники, вот тогда-то будет полный порядок; опять же соглашались: слава Богу, подняли – но о дальнейшем помалкивали... О чем угодно – только не о будущем.

А через год-два перспективная семья вдруг становилась неперспективной: на подворье оставались только старшие или старики.

Минуло пять лет – и Раков растерялся: он заглянул в свою тетрадь – из девятнадцати перспективных семей в Курбатихе осталось шесть. И вот выяснилось: и Сиротины намерены подниматься всем табором.

Руки опустили.

* * *

В середине шестидесятых годов вновь произошла массовая смена «хозяев», колхозов и совхозов – тоже. Именно тогда, после ноября 1964-го и марта 1965 годов, новые «хозяева» совали друг другу под нос захватанные речи и постановления, восклицая:

– Вот это, вот это прочти – ну, теперь заживём!

– Нет, ты сюда глянь, сюда: финансы-то теперь и в хозяйстве оседать будут!

– А закупочные цены!

– А техника!

– А денежная оплата – рублик свое дело сделает!..

В первое же своё председательское лето Раков согласился на строительство в Курбатихе двух шестнадцатиквартирных домов – кирпичных, двухэтажных. Он поверил, что тридцать две квартиры сослужат ему добрую услугу: в колхоз шла новая техника, а сажать на эту технику было некого – вот и надеялся председатель квартирами приманить механизаторов...

Раков добился рейсового автобуса Курбатиха – Починки, планового ремонта дороги; он прикладывал все усилия, чтобы хоть как-то облегчить труд доярок и скотников, вопреки инструкциям выделял колхозникам дополнительные покосы, не говоря уж о том, что все денежные споры старался решить в пользу колхозников; он и в обращении был открыт и добродушен. А вот ответной открытости не было. Люди не то чтобы боялись впускать председателя в свою жизнь, но не хотели его впускать председателем, не доверялись ему. И такая вот несовместимость обшибала руки, невольно заставляя восклицать: «Да черт возьми, не для себя же я стараюсь!» Не сознавая того, а, может быть, только себе не признаваясь в этом, как всякий эгоистический или тщеславный человек, наёмный «хозяин», за каждое своё доброе дело и даже слово Раков ждал немедленной благодарности, забывая или не ведая, что и благодарить люди разучились – и не за что... А со стороны все это выглядело так: Ракова как председателя, как рачительного хозяина, не признавали – в нем видели всё того же опричника всё той же опричной власти, которая в любое время может отобрать, запретить, задушить.

Вот это чувство несовместимости Раков пережил и в то утро, когда не от Сиротиных, а от Алексея Струнина узнал, что и эта перспективная семья намерена подниматься в город. И Вера Сиротина подтвердила, причем без заминки, без смущения, как будто так и должно быть, – и никакой тебе благодарности.

Раков постоял, поморщился на непогоду, сел в машину и медленно, точно сопровождая похоронную процессию, поехал к правлению, в противоположный конец Курбатихи. Ехал и – в который уже раз! – не узнавал деревню, казалось бы, ставшую уже родной.

Курбатиха – не Перелетиха: одна на горужке, другая – в пойме. Хотя место и красное, но низина. И вот, когда Курбатиха пообжилась новыми подворьями, фермами, когда построили гараж с мастерскими и площадкой для тракторов и комбайнов, когда появились тяжелые

«Нивы» и «Кировцы», курбатовская улица не вынесла гнета – поплыла: так-то ее поразмесили гусеницами и колесами, что только зимой да в засушливую межень избавлялись от непролазной грязи.

Когда хватились – деревню уже испохабили. Собрали правление, решили: запретить ездить по деревне на тракторах и машинах, определить объездную дорогу. Только куда там! За деревней луговину за месяц размочалили так, что без трактора машина уже и не проходила. Теперь нужны были дорожники, чтобы поднимать и мостить улицу. А где взять дорожников, где денег взять?.. А тут ещё и осень гнилая, и весна гнилая – и тонула Курбатиха в грязи.

Катилась «Волга» от одного дома к другому, и казалось председателю, что поглядывают на него из окон колхозники да посмеиваются.

А вот и первый пересмешник – Чачин. Стоит перед своим крыльцом, покуривает. Под семьдесят мужику, а ещё крепкий – всё работал, но как только начал пенсию по новому тарифу получать, так всё – ни дня. Первое время Раков едва терпел его: ну что человеку надо – только и подковыривает, любое доброе дело осмеёт. Попенял как-то ему на зубоскальство, а Чачин, не диво ли, промолчал, лишь усмехнулся, да с такой откровенной горечью, что Ракову не по себе стало... И задумался председатель: что тут к чему? И понял, откуда в Чачине этот горький смех, а когда понял, то, не мудрствуя, подошел к мужику, подал ему руку и откровенно сказал:

– Ты не сердись на меня, Чачин. Не понимал я тебя, а теперь понял.

Чачин в ответ без тени улыбки:

– Вот и ладно, председатель, что понял. Так-то и лучше.

После того не раз приходил Раков к Чачину: и сидел рядышком, и вздыхал, и ждал совета или доброй подсказки, и лишь головой покачивал на его скоморошины.

Вот и теперь Раков затормозил возле ног Чачина. Молча пожали они руки. И вздохнул председатель:

– Ну, погода... провалилась она пропадом.

– Да уж, – согласился Чачин, но и тут не удержался от байки: – Мочится Илья и мочится, нам морока, а ему хочется. – И кривил в улыбке рот, и шурился: крепкий, он и на земле, казалось, стоял крепко, и не сожалел, что остались они в Курбатихе вдвоем со старухой – почти силком когда-то угнал в город двух сыновей и дочь: живите.

Однажды только и видели Чачина в большой растерянности, даже не в растерянности, а в каком-то нервном припадке, когда человек на глазах рушится.

К двадцатипятилетию Победы над Германией соорудили в Курбатихе общеколхозный обелиск в память погибшим на фронтах. Сошлись мужики при наградах. Как увидел Чачин на двух плитах бесконечный список погибших – все дружки, годки да сродники! – так и дрогнул человек. Только и сказал: «Братцы, сколько же вас, – а только Чачиных в списке было пятеро, – вырубili, как осинничек, и ничего без вас не осилим – укатают», – закрыл лицо руками и пошел от обелиска, покачиваясь, как пьяненький.

– С улицей-то что делать? – резко спросил Раков, как если бы во всем и был виноват Чачин.

– А что делать... уже сделали. – Чачин был даже весел и говорил этак – знай наших, но за всем его бодрячеством залегала горечь. – Мне-то что, меня Чачин и по такой «каменке» отвезет – во-о-н туда. – И Чачин длинно кивнул в сторону кладбища за деревней на пологом угорке.

– Неизвестно, кому кого везти...

– Верно. Чачин хоть и моложе на год, а и ему тоже в хвост и в гриву хватило...

– Я не о Чачине, об улице говорю – что делать?! – почти злобно огрызнулся Раков, но и тогда ни один мускул на лице Чачина не дрогнул. Снял он с себя кепку, тщательно порасправил изломанный козырек, пригладил ладонью ежик бурых волос и сокрушенно вздохнул:

– А у меня, понимаешь ли, голова, что-то бычишко захромал...

– В грязи, говорю, потонем. Что делать-то?!

Чачин встрепенулся, будто теперь только до него дошёл смысл разговора.

– Что делать? И верно – что? А что, если уж так, то давай шаг вперед – два назад. Вот и диалектика.

– Что? – Раков насторожился.

– А то... – Чачин пожевал губами, подумал и выдал: – Разукрупняться да восвояси – на горушку, в Перелетиху. По домам, говорю. А весь машинный парк где-нито в стороне, отдельно от деревни, тракторам да машинам в деревенском порядке и делать не...

– Ну, ты даешь! – Раков досадливо махнул рукой.

– Так я и говорю: снова, да ладом! – Чачин, как гусь, гоготнул – ясно было, что теперь уж от него ничего серьезного не добьёшься.

4

Раков намеревался напрямик проехать в Летнево, однако вдруг и свернул к правлению колхоза – к одному из двухэтажных домов.

«Вот – тоже: снова, да ладом», – подумал председатель.

С тупым безразличием смотрели серо-грязные под шифером дома, на тридцать две квартиры которых было столько надежд. Тогда в восторге думалось, что это только первенцы, а тайно Раков мечтал целую улицу отгрохать из таких вот двухэтажек.

Самою идею агрогородков, благоустроенных квартир для деревни – момент стирания граней между городом и деревней, – Раков воспринял умом и сердцем, как и введение денежной оплаты за труд – будущее!.. И не один день, не два он и возмущался, и недоумевал, даже негодовал и злобно посмеивался над мужицкой неразворотливостью, над неумением – да по готовому! – складно наладить свой быт. Затянулось его общение и с Василием Ворониным.

Василий, или, как его звали деревенские, Васянька, младший сын Настасьи Ворониной, одногодок Бориса, остался жить в Горьком после армии: отслужил, женился – и остался. Жизнь сложилась так, что жил с семьей в коммуналке, лет через пять выбрались в однокомнатную квартиру – и затормозились навечно. А детей двое – растут.

Василий в городе для начала обленился, затем стал попивать, и только тогда на него уже навалилось безразличие: он не хотел никаких перемен – все равно.

А когда в очередной раз приехали в Курбатику навестить больную мать, жена Василия, увидев строящиеся дома городского типа, тогда же тайно и повела переговоры с председателем. Расчет ее был прост: оставить совершеннолетнего сына в городской квартире, а самим – втроем – перебраться в Курбатику. Самим, мол, теперь все равно, где стареть, а дочь подрастет – можно будет отправить в город к брату.

Раков даже возликовал: уже и желающие переселиться!

Так и сделали дело: ещё и дом не достроили, и сараев нет, ещё и строительный мусор не убрали, а Воронины уже вселились. И Раков со светом в душе вскоре увидел Василия с топором в руках возле дома.

– Здравствуй, – с улыбкой приветствовал он. – Строим! Это даже очень дельно.

– Здоров, начальник... строю. – Василий с ленью втюкнул в бревешко топор. – Давай закурим... твоего табачку, а то у меня бумажки нет... и спичка отсырела. – И губы отлячил в ухмылке.

И только теперь Раков понял: занимается-то Василий черте-чем. Вырыта ямка, валяется неошкуренный столбушок, рядом две половых тесины-шпунтовки.

– А ты это что?

– Э-э-э, это основы, фундамент... – Василий закурил, поплевал через губу крошки табака. – Это, знаешь, место культурного отдыха трудящихся... Ну, председатель, да ты не копенгаген. Что тут понимать! – И Василий начал объяснять – с чувством, с толком, сопро-

вождая свою речь выразительными жестами. – Вот в эту ямочку Василий Иванович, то есть я, вроем вот этот столбик, на него вот из этих досок пришьет крышку – получится замечательный столик высотой шестьдесят пять сантиметров. И со всех сторон скамеечки... Столик покрыть пластиком – от сырости, и это очень удобно, – Василий поворачивал ладонями, как бы размещая домино, – «козелка» под «чернила» гонять. Имеет на это право трудящийся человек? Имеет... Под крышкой стола для такого дела прибавляется посылочный ящик, где хранится общественный аршин, то есть мерка, то есть стакан, – объясняю популярно: хлеб, лучок и пустая тара, то есть хрусталь-бутылки на обмен! – И довольный своим докладом Василий расплылся в нахальной улыбке.

Первым желанием Ракова было съездить этому доброму молодцу по физиономии; вторым – поставить мужика на место (но как!); третьим – припугнуть (но чем?!); четвертым – усовестить: и Раков будто со скрежетом зубов сдержанно сказал:

– И как тебе не стыдно. Думал, хоть делом занят. Столик он для домино, ящичек для бутылок. А сараев нет, вокруг кучи мусора – не пролезешь!.. Люди работают на картошке, а вы почему дома?

Слушая Ракова, Василий ухмылялся. Но как только председатель упомянул о картошке, стало быть, о работе, на лице Василия от ухмылки не осталось и следа – возмущение и оборона.

– Позвольте, Николай Васильевич, или не знаешь наше советское законодательство о труде? А я знаю...

Плотно сжав зубы и отведя одну руку за спину, еле удерживая себя от бранного гнева, Раков молчал... Тотчас же, сию минуту, он был даже не в состоянии разобраться с таким явлением, как Васянька Воронин, и выслушивал председатель эту дешевую демагогию – кривлянье вчерашнего рабочего, а позавчерашнего колхозника из Перелетихи... А ведь он, Раков, решивший положить свою жизнь за деревню, должен бы разобраться и в этом явлении вместе с посылочным ящиком... Но пока его лишь съедало самолюбие, требуя благодарности и словословия за двухэтажные дома: одна его рука делала добро, а вторая, подрагивая от нетерпения, ждала признательности.

А между тем Васянька, сочтя молчание Ракова за поражение, продолжал без помех плетение словес:

– Пятидневная рабочая неделя: с восьми до пяти и час на обеде. А всё, что сверх, оплачиваться должно вдвойне, как и работа в праздники. И это просим учесть – власть хоть и прежняя, сталинские времена прошли... А по части сараяк – сделают подрядчики. Да и зачем он мне – сарай? Корову, что ли, держать? А дрова – полежат и на ветру. Короче, продолжаю возводить очаг культуры. – И Василий взялся за топор.

– Доски положить на место. За каждую испорченную половицу я прикажу удержать из зарплаты, – еле выговорил Раков, повернулся и пошел прочь: глаза бы не смотрели. А Василий вслед только шлепнул себя по штанине тыльной стороной ладони...

Дом заселялся. На запланированном месте наклепали разношерстных сараяшек, а к ним уже пристроечек и разновеликих клетушек. У кого-то в сарае хрюкал поросёнок, у кого-то кудахтали куры, но чаще сараи были глухие, безжизненные, забитые хламом и дровами. И как-то забыли люди: когда нет у крестьянина хозяйства – есть бесхозяйственность. В подъездах и около каждой двери на лестничных площадках стояли и валялись ящики, корзины, ведра, лопаты, грабли, грязные сапоги, коляски, санки, лыжи, словом, чего здесь только не было – и вечная грязь. В квартирах ещё поддерживался кое-какой порядок, но зато тесные кухоньки задыхались и захлебывались. Чтобы приготовить, разогреть обед или ужин, согреть воду или высушить обувь, надо было раскошегаривать плиту, в иных квартирах плиты топились целыми днями... А эти помойные ведра, а общественная уборная за сараями! И только культурный очаг Василия Воронина процветал и действовал безукоризненно.

Но уже года через два началось обратное передвижение. Те из жильцов, которые решились укрепиться в Курбатихе основательно, покупали сиротевшие дома и устраивались по-новому, точнее – по-старому. Тогда же вдруг и обнаружилось – квартиры в двухэтажках запустевали. Раков уже и не пытался прельщать рабочую силу «благоустроенным» жильем, понял, что правы были те, кто говорил, что это – лишь очередное вредительство.

А в минувшем году Раков решился на шаг, который позднее ему дорого обойдется: сселил два дома в один.

В одной половине освободившегося дома в нижних четырех квартирах разместилось правление колхоза, в верхних – почта, сберкасса, партком и бухгалтерия; во второй половине дома в нижних квартирах – ясли, детский сад, столовая и гостиничная квартира для гостей и командированных, а верх заняла Валентина Викторовна: поликлиника и стационар для больных, процедурный кабинет и аптека.

Вот так и разместились... Со временем во втором доме Раков надеялся организовать учебный комплекс для механизаторов и животноводов...

Выбравшись из машины, с минуту Раков шарил рассеянным взглядом по окнам первого этажа – все уже было привычно, однообразно, а теперь – даже тоскливо. Тоскливо не потому, что непогода, дожди, тоска исходила из общей неудовлетворенности – и делом, и собой.

5

За истекшие годы на привычный взгляд Валентина Викторовна вовсе не изменилась. Но это только на взгляд. Уже после истории с Ниной она заметно обмякла, подобрела, как будто поняла, что окружают её отнюдь не прохвосты и лгуны, а обычные люди со своими заботами, со своими неприметными судьбами... Сошло домашнее напряжение и с мужа – Раков, наверно, окончательно уверился, что жизнь его до конца будет связана с женой и дочкой, что это судьба, а от судьбы не уедешь. И Леночке мягкий климат оказался как рыбке водичка: она так и плескалась между матерью и отцом.

И все-таки в душе её как будто постоянно присутствовала тревога, тревога за жизнь свою и дочери, тревога от неудовлетворенности – по-своему даже тревога-неудовлетворенность.

Городской житель, она в общем-то и не представляла жизни другой. И все-таки приняла деревню, но приняла, как стартовую площадку, как строительный объект. Тщеславие и надежда на время примирили ее... Ведь пройдет два-три года – и строительство завершится...

Валентина Викторовна решила, что именно в деревне, где она, человек первый, сможет проявить свои деловые и творческие способности. За счет широкой практики повысит и укрепит квалификацию, в конце концов подготовит и защитит на местном материале ученую степень – словом, есть стройплощадка, есть и строитель, значит, несколько лет не пропадут даром.

Все развивалось как будто по плану: оформлялся медицинский комплекс, расширялась сфера ее влияния, и колхозники зауважали врача Валентину Викторовну.

Однако на третьем, что ли, году она уже почувствовала, что начинает уравниваться с окружающими её односельчанами... Во дворе, скажем, неожиданно появились куры – а это ещё зачем?! Просила дочка. Кур надо было кормить, ухаживать за ними. А двор крестьянский – не кабинет, во двор идти – и одеваться «ко двору». Точно так же с огородом – и для дочки, и для себя морковь, огурчики с грядки не помешают. Но ведь прежде чем выдернуть из грядки морковку, надобно землю удобрить навозом, вскопать, сделать грядку, посеять, а потом все лето горбиться над грядкой, иначе не морковь будет, а трава. И в огород на каблуках не пойдешь, как, впрочем, и по деревне без сапог не пролезешь. А возня с завтраками да обедами – вовсе уж дело не высшего медицинского порядка. И так во всем: деревня заставляла подчиниться своим законам – и ни выхода, ни выбора... А ведь как все просто и естественно: нанять домработницу. Но такую роскошь – будто это роскошь! – не позволят даже две зар-

платы, потому что зарплата врача приравнена к зарплате домработницы. А не то, так могут и в эксплуатации обвинить.

И Валентина Викторовна почувствовала внутреннюю усталость, а может быть, и безразличие – стали исчезать желания и устремления: не хотелось и думать о научной работе – зачем? И тотчас наружу другая тревога: годы уходят, а удовлетворения, а счастья – нет. Муж председатель, сама врач, один ребенок: только и пожить бы в удовольствие. А ведь для того Брежнев и материальную заинтересованность на щит поднял, чтобы красиво пожить...

И сама не заметила, как перекрасилась, перемазалась. Появились платья и юбки то с разрезом сбоку, то спереди, то сзади. Райкомовцы, бывая с проверкой, так и постреливали глазами на жену Ракова – это ей льстило. Но не замечала она: чем эффектнее она выглядела, тем холоднее, тем мертвеннее становился её облик, не живое лицо – маска. Но самое убийственное было то, что и при такой жизни для себя – хотя разве же это для себя! – в душе её тревога так и оставалась. И принять эту жизнь с тревогой она не могла, не могла и понять того, что живет не своею жизнью, что её жизнь где-то в другом краю, в другом окружении. Но ведь город ли, деревню ли надобно принимать не как строительную площадку, но как улей со строительной площадкой внутри. Необходимо принимать не работу, не место работы, а прежде всего жизненный уклад, и принимать его раз и навсегда – иначе неудовлетворённость, тревога... Глянет на себя в зеркало – не двадцать лет: эх, загубила свою молодость! – тревога; и дочка растёт – в сельскую школу пошла, а ведь может так и затянуть деревня – тревога; муж и думать не думает, чтобы уходить на повышение – значит, на всю жизнь?! – тревога. Так и складывается, и зреет, и опутывает сетью неудовлетворенность – тревога. Вся жизнь – тревога.

* * *

Дверь перед Раковым распахнулась, и точно с порывом ветра из кабинета выскочила женщина – только и успел заметить: не лицо – сплошной гнев, в глазах – злые слезы. А вдогонку голос Валентины Викторовны:

– Беги, беги, да лучше думай. – Холодный голос, недобрый.

Медленно и грузно прошел Раков в кабинет. Жена стояла возле окна – с пышным начесом крашенных волос, с лоснящимся от крема и помады лицом. И жесткие ее губы были плотно сжаты, и пальцы рук сцеплены.

Раков сел на стул, широко расставил ноги в сапогах, вздохнул:

– Кто такая?... Как ошпаренная.

– Не узнал?... Бутнякова из Гугина. – И жена тоже вздохнула, села к столу, тотчас обретая и уверенность, и непогрешимость врача. – Вот пришла – направление на аборт давай... говорит, хватит одного... говорю: рожай второго – иди подумай.

Раков видел, как нервничает жена, как корежит её уже сам вопрос... Но ведь и она, когда дочке исполнилось полтора года, сделала аборт без его ведома, точно так же объяснив: одной хватит. Сделала, но уже и не беременела – и от этого много страдала. Теперь, правда, уже и не страдает – притупилось. Но досадует, когда вот так приходят «за абортом». Не умом, а самой природой человеческой она всё же понимала, что аборт – это убийство... Только ведь жизнь такова, что и с одним ребенком голову потеряешь: муж работает, жена работает, бабушки нет, а если и есть – это уже не прежняя бабушка-посиделка; да и всё поставлено так – муж и жена, а дети – это уже обуза, надсада, точно лишена жизнь права на родительство, на радость материнства или отцовства.

– Подумает и надумает – завтра придет. – Глянула на мужа – усмехнулась. – А ты что, как будто тоже за этим делом пришёл?... Может, пойдём пообедаем?

Он молчал. И она подошла к нему и положила ладонь на его крупную и, казалось, тяжелую голову. И наверно, оба они вдруг почувствовали, что нет ни рядом, ни далеко вокруг

никого, кто бы мог вот так положить ладонь или кому можно было бы положить ладонь на голову и почувствовать одновременно кровную неразрывную связь, родство при всех бытовых несообразностях.

Раков благодарственно глянул на жену и неожиданно сказал, о чём минуту назад и не думал:

– Валя, может, нам дом купить – свой дом. А то живем, как на вокзале, и думаем, а когда вещи-то скручивать...

Трудно и беспомощно всюду – и в деле на людях, и наедине с собой: он, казалось, впервые за годы молил участия и сострадания... И она поняла его, и брови ее чуточку сошлись, а из-под прикрытых век, размывая тушь, выкатились слезы. Но это все-таки было не сострадание, скорее, упрек за беспомощность: «Зачем, за что так? Неужели всю жизнь – так?» И он тоже понял её, и проникся чувством сопереживания. И на какое-то мгновение оба они притихли, и была минута, когда обоим казалось, что они слились, сплотились в нечто единое, что вот так и будет вечно и неколебимо.

Но и это только казалось.

6

И вновь появилась необходимость повидаться с Будьдобрым, который с того самого дня, как объединили колхозы, жил на покое. Свой крепкий председательский дом тогда же он перекатал из Перелетихи в Летнево. И не случайно: Летнево – уютная, небольшая деревушка всё на той же Имзе – размещалась так, что ни при каких заговорах не должна бы попасть в разряд неперспективных – слишком много угодий тотчас и осиротело бы, слишком очевидна была бы злоумышленность.

И вот ушел председатель на пенсию, поселился где поудобнее и потише и когда понял, что окончательно выбрался из потного хомута, то и заговорил громче, увереннее, и о деле начал судить не то чтобы наперекор, а так – откровеннее. А знания и опыт у Будьдоброго были. Именно его опыт и откровенность влекли Ракова: посидеть, покурить, потолковать за жизнь, а заодно, случалось, выслушать и добрый совет.

Последний раз побывал Раков в Летневе зимой – появилась нужда... Не только Раков, а и все председатели и директора в области столкнулись с живой проблемой. Когда так дружно ликвидировали травопольную систему землепользования, то или ничего не полагали, или полагали, что уж к этой-то системе возвращаться не придется. Даже горох и чечевицу перестали сеять, а уж о клевере и говорить нечего – вывели подчистую... А когда признались, что и эта кампания была злоумышленной, выяснилось, что клевера нет и быть не может – семян нет. Но ведь где-то есть – закупить можно. Съездили в Белоруссию – закупили. Только не пошёл белорусский клевер – одна досада. Значит, нужны районированные семена. А где их взять? Кто этим будет заниматься?... Вот и отправился Раков за советом – и получил: плюнуть на всё и потихоньку самим в колхозе районировать. Уйдут годы, но хоть через годы клевер будет – с опытной станции теперь не дождешься.

– А не хочешь, так квадратно-гнездовым королеву! – весело пошутил Будьдобрый. – Всего по миру пойдешь!

– Сами-то сеяли, – огрызнулся Раков. – Уж куда дальше, пойму распахали под кукурузу. Нас и пустили по миру. А то умные да смелые!

– Верно – умники. – Будьдобрый, похоже, устыдился своей веселости. – Эх, Николай Васильевич, все мы умные да смелые, пока за яблочко не прихватят... Эти Баландины всё могут...

Они сидели в прекрасной горнице, на прекрасных мягких стульях, за прекрасным полированным столом под скатертью, пили из прекрасных хрустальных стопок, правда, далеко не

прекрасную водку. Все в этом доме казалось прекрасным – и мебель, и телевизор, и шторы., и двухстворчатая филанчатая дверь, ведущая в прихожую-переднюю, и вид из высоких окон на заснеженный лес. И хозяйка – немногословная и хлебосольная – душа прекрасного дома; и сам хозяин – Будьдобрый – не официальный гусь, не председатель: в свои семьдесят два он был ещё воистину крепок, хотя и жаловался беспрестанно то на фронтовые, то на тыловые болячки. Лицо и шея его, иссеченные крупными морщинами, казались вылепленными из глины и обожженными на огне, и глаза лукавы и веселы, как будто перехитрил человек хвостатого князя – и радуется. Он шурился, с аппетитом похрустывал вилоквую капустку, как устриц глотал маленьких маринованных маслят, а когда брал в руку хрусталь, то непременно говорил:

– Курить вот бросил, а это – никак, без этого нельзя. Ну так, побудем...

И вот тогда, наверно впервые, Раков и решил: «А ведь надо бы и мне свой дом заиметь. Как на постоялом дворе. А случись что – враз и останешься на улице. – И он оценивающе повел вокруг себя взглядом. – Неплохо устроился. Значит, мимо рта не проносил, а и колхозишко имел плёвенький».

– Да, Николай Васильевич, – продолжил свою мысль Будьдобрый, – все мы умные, все смелые, пока вот так – за столом и на голову не капает. Куда и смелость девается, если оттуда, сверху, директива... И попробуй... похерить. Штаны принародно снимут и высекут. А сколько всяких депеш – ого! И вот что диво – у меня ведь все эти депеши со времен коллективизации в отдельном месте хранятся, теперь-то есть время и это изучать! Диво, когда так разложишь пасьянс из депеш вплоть до шестидесят пятого, а то и по сей день, да оценишь, то уже и не надо быть мудрецом, чтобы понять: все указания и постановления отменялись или перечеркивались другими – вечное «головокружение». И год от года не легче. Как будто, можно подумать, вредительство. – Будьдобрый и руку вскинул. – О! Видишь, какой я умный да смелый, а это потому, что на голову не капает... Пятнадцать лет в Перелетихе председателем – всех перещеголял по времени! – всяких указок начитался, всё выполнял, а иначе как журавушка закурлыкал бы! И вот, поверь, горько, но не стыдно, а ведь уже туда заглядываю, – он ткнул пальцем вниз, себе под ноги, – спастись пора бы, ан нет – не стыдно, потому как не своя воля и виноватого не найдешь – любой на моем месте точно так же и поступил бы, куда денешься! Единственный раз воспротивился – это по объединению. А толку? – Он прикрыл глаза, видимо, вспоминая прошлое и криво усмехаясь этому прошлому. – Взял – и воспротивился! Приложили... свинцовую примочку. Мне уже нелепо было правож чинить – тогда уже за шестидесят перевалило... А только я, Коля, и до сих пор полагаю так: укрупнение под корень подсекло сельское хозяйство, это, пожалуй, самая продуманная штука была после войны для сельского хозяйства – долго не расхлебается... А вот совесть под конец жизни о другом страдает – стыдно и прощения не нахожу себе: на людей, на обездоленных баб нельзя было давить. А давил, эх, давил... И с личных усадов чуть ли не палкой выгонял на поля, и сено, подкошенное по обочинам, отбирал, и в счет налогов со двора скотину уводил, и не отпускал ни под каким предлогом на выезд – всё было, вот чего нельзя было делать. Шуми, там, кричи, грози, но не дави – и без того раздавлены... А люди-то, люди – за всё прощали... Помню, как это покойная Лиза Струнина – больная, с детьми – на колени падала, Христа ради просила: дай справку, отпусти, погибаем... Не отпустил. Молодец, сама уехала... Так ведь потом-то пришел к ней, поклонился: поработай – и опять, считай, за так. Плюнула бы в морду – и права была бы... Нет, вышла телятницей за полтинник в день: как же, говорит, работу работать надо, людей кормить надо – и вышла. Я тогда домой пришел – и напился, глаза на себя не смотрели... Эх, какие же люди безотказные и как это мы их: до хруста, в бараний рог... Милосердие людское загубили – и я губил, и я топтал... Я ведь потому только и в Летнево убежал – земли тамошней стыдно, людей-то бывалых уже и не осталось...

* * *

Машины занесло, и по глинистому, точно намыленному спуску на мост поволокло юзом... Раков безуспешно пытался выровнять машину – ничего не получалось. Уже развернуло поперек дороги, когда задние колеса точно за что-то зацепились и машину как по циркулю – понесло! – ещё момент и кувырком, но Раков вовремя отпустил тормоз, резко вывернул руль – и машина полуюзом вкатилась на сплошь покрытый грязью мост.

Раков выругался, руки напряженно дрожали.

«Ну, шоферское дело надо бросать – иначе угроблюсь... и других угроблю», – с досадой и гневом подумал он, хотя, наверно, знал, что так и будет сам водить машину.

И на этот раз Раков поехал было в Летнево не ради прогулки – опять же был необходим совет председателя-пенсионера.

Не давала Ракову покоя мысль: а что, если отказаться от плуга? Кое-чему научили и Мальцев, и целина, и исторический опыт выращивания кустистой пшеницы, но главное – народный опыт: ведь испокон русские земли ковыряли сохой, а соха – не плуг, соха, скорее, рыхлитель. И семян тратили меньше, а урожай получали... Был уже и свой опыт: несколько лет назад клин в Гугине по необходимости всего лишь продисковали и засеяли ячменем – и диво: сняли урожай вдвое. Только дисковые бороны поразбили, да и нужны были новые, широкозахватные – а где их взять?.. Вот за советом – где взять? – и ехал..

Но с каждым шагом тяжелой дороги Раков все больше раздражался. Он даже не понимал, что его раздражает – то ли Будьдобрый, то ли сама поездка за советом... Да и какой к чертям совет, что он может насоветовать, когда сам пятнадцать лет пилил подневольно. А что людей жалеть надо – вот и жалел бы. И понятно, что теперь не будет прежнего крестьянина – извели прежнего, постреляли, голодом уморили. И сам Будьдобрый изводил, а теперь, видите ль, совестью страдают... Прав ли был Раков, нет ли, но судил – и нервы его сдавали, и раздражение, скорее всего, безадресное раздражение точно гнев возгоралось в нем... Хотя, возможно, виной всему была разбитая дорога и спуск на мост.

Однако на развилке Раков неожиданно резко свернул в Перелетиху.

* * *

Дорога в Перелетиху была грязная, но без колеи и колдобин – тяжелый транспорт редко заворачивал сюда. Машина катилась ровно, и только шматки грязи, срываясь с колёс, стучали по днищу кузова.

Раков ехал не просто в бригаду – не на ферму, не на поля – ехал он только к Нине, дома у которой ни разу так и не побывал.

Выглядел Раков изнуренным и усталым..

Шесть изб – и только в четырёх зимуют – вот и вся Перелетиха. Но стоило Ракову въехать в улицу, как тотчас и по достоинству оценил он самоё это лобное место – на горушке. Здесь как будто и дышалось легче, отсюда и виделось шире, и речка пьяно-извилистая создавала неповторимый в обозрении пейзаж – увереннее здесь было, как на острове среди океан-моря.

И ни живой души перед глазами...

Не знал председатель, что в этот день, 22 мая, православные люди отмечали праздник – Николу летнего, в честь Николая Чудотворца Мир Ликийского. Стало быть, и в честь именинника Николая Ракова в доме этом с вечера была зажжена и горела перед иконой лампадка... Не ведал он и того, что хозяйка даже не вздрогнула, увидев в окно гостя: она спокойно ждала его, когда он войдёт, чтобы на его приветствие ответить:

– Здравствуете, Николай Васильевич...

Не менее часа председательская «Волга» стояла возле дома Струниных. Но никто не знал и не узнает, о чем они говорили – эти двое, семь лет назад которых сводила сама судьба, которым, видимо, на роду было написано быть вместе.

Можно лишь догадываться, что среди прочего разговора речь шла и о судьбе вымершей Перелетихи, потому что именно с того дня живой плотью в Ракова вошла идея: начать потихоньку защиту порушенных и поруганных деревенок, так называемых неперспективных – их в колхозе было три. В этом он увидел оздоровление и воскресение земли – будущее российского Нечерноземья. С тех пор об этом при случае он не уставал повторять, и более того, в тот же Николин день Раков высказал жене идею – не просто купить, а именно построить свой дом, именно в Перелетихе, на том примерно месте, где когда-то стоял, покачнувшись под горушку, дом Сашеньки, Александра Петровича Шмакова..

На восклицание же Валентины Викторовны:

– Помилуй, тогда уж лучше в лесу! – Раков пояснил, что не исключена возможность, что предложат заведовать районной сельхозтехникой – было уже такое предложение, – так что дом окажется дачей, а для дачи места лучшего не найдешь, только в Перелетихе. Жене такой вариант пришелся даже по душе – наконец-то муж начал уметь.

Глава четвертая

1

Обедали поздно, как в городе. К теперь, ожидая Нину, все томились в невольном бездельи. Только Вера в прихожей-кухне гремела тарелками – мыла посуду.

Борис, выпив со всеми за обедом стопку, был в маетном состоянии. Его изводило два обстоятельства: во-первых, в открытой посуде осталось содержимое, во-вторых, считал он, надо бы уже теперь сходить в сельмаг и отовариться, чем по темну-то грязь месить или переплачивать торгашке. Напомнить же об этом он не решался: Вера заворчит, а Алексей её же и поддержит... Однако ещё и подавленность шла оттого, что сомнения так и не оставляли – непредугадонность грядущего дня. Ведь предстояло окончательно решить вопрос о переселении в город. Это настораживало, даже пугало. И маялся человек, и в маете скитался из угла в угол, не находя себе места. А заняться чем-то полезным он не мог – не было такого занятия, утратило хозяйство крестьянский лад. Сиротины были уже не крестьяне, а рабочие колхоза.

А вот гость, Алексей, был добродушен и спокоен. В свежей тонкой сорочке, в незапятнанных брюках он по-домашнему полулежал на стареньком диванчике. Тут же рядом с ним был и Ванюшка: они рассматривали книжки, привезенные в подарок Алексеем, и были вполне довольны друг другом. Лишь время от времени, вытягивая шею, Ванюшка настораживался – ему вдруг казалось, что заскрипело крыльцо или стукнула входная дверь. Ждал он крестную, чтобы лишний раз в душе возликовать: а вот у меня какая крестная – лучше всех!

* * *

Нина пришла, когда в царящем ненастье уже пора было включать или свет, или телевизор.

– Ну вот, наконец-то, – донесся из прихожей голос Веры.

– Ты это чего долго, ведь заждались, – ворчливо попенял Борис.

Ванюшка, улыбнувшись, скользнул с диванчика, наверно боясь разоблачения в неверности. А Алексей поднялся, когда Нина уже прошла в горницу и включила верхние свет.

– Здравствуй, сестренка, здравствуй, – проговорил он, делая шаг навстречу и поднимая руку, чтобы приобнять Нину...

К столу ближе к двери рядом сели Борис и Вера, со стороны отца большаки – Петька с Федькой, со стороны Веры – Нина с прилепившемся к ней Ванюшкой, а рядом с большаками напротив Нины, чуть поотодвинувшись от стола, Алексей.

– Ну так что, – хмурясь и отводя в сторону взгляд, начал Борис, – туточки и вся наша родня – остальные там, в Заволжье. Вот, мои мужики, – так он обращался к сыновьям, – мы с матерью хоть ещё и не совсем остарели, но уже и не молоденькие, так что и думаем о городе ради, чай, вас... в первую голову. Дядя Лексей уже и домишко приглянул, дело за нами, за вами. – И, глянув на большаков, Борис всё-таки облегченно вздохнул и улыбнулся: а ведь двое, считай, на ногах, поставили двоих! – Вы давайте и говорите: поедем ли, будем ли подниматься? А если нет, то и суда нет... Телевизор отменяется.

Большаки переглянулись – Петька вскинул брови, Федька многозначительно шмыгнул носом: у них-то всё давно было решено, они-то всё уже порешили, они – в городе.

– Вы, папа, сами решайте, – заговорил Федька так, что даже Алексей встрепенулся: это уже не мальчик говорит, мужчина. – Мы с браткой через год в армию загремим, а уж после армии в Курбатику не ходоки. Вы это сами, а нам одна уезжать отсюда.

– Да, нам все равно, – подкрепил Петька.

– Вишь, мать, им одна... они решили – и совета не спросили. – Горькая усмешка тронула губы отца.

– Это и хорошо, к самостоятельности смолodu привыкают, – поддержал племянников Алексей, хотя вмешался он в разговор, скорее, для того, чтобы тотчас и разрушить горькие сомнения Бориса.

– Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего... Так ведь и яйца курицу учить почнут. – Борис помолчал, хмурясь и постукивая костяшками по столу. – И мы с матерью тоже решили. Нам, почитай, и говорить нечего... Ты, Алексей, скажи, что хоть там за задумка у тебя? Так-то я знаю, а всё же...

Нина оставалась безучастной не только за столом – вообще. Как после тяжелой работы она сидела обмякая, отдыхая всем телом и душой. Одна рука беспомощно на столе, другой она приобняла Ванюшку за плечо. Ванюшка доверительно приютился.

«О чем они, что это вообще?... Уехать – какой смысл? Да и дело ли гоняться за долей, когда доля твоя всюду с тобой. И кто это тот нечистый, который внушил людям ложь о жизни, как о вечном празднике... Накорми, одень, обуи, снабди всяческой техникой – и рай? Ведь начнется другая холера, с какой и сладу не найдешь. Что об этом сказать, да и говорила – не понимают, обижаются...» – плыли мысли, переплетались; и Нине не хотелось слушать сидящих за столом, хотелось бы взять Ванюшку за руку – и уйти в Перелетиху, в своё тихое одиночество... Но ведь тоже обидятся.

Алексей неспешно закурил дорогую сигарету, легко и даже красиво заложил ногу на ногу и повел речь – благоразумно, убедительно... Способность, когда каждое слово ложится как пуля в цель и приговаривает, обезоруживая и подчиняя, за последние годы в нем настолько развилась, что даже секретарь райкома партии, послушав как-то его выступление, сказал:

– Ну, Струнин, мастер ты говорить. Ерунду понесёшь – и будут слушать и верить. Оратор!

Тогда в ответ Алексей усмехнулся, пожал плечами, а про себя подумал: «Ерунду ты сам и несешь. И даже если нужные вещи говоришь – тебе не верят, потому что «дундук с клопами» и сидишь не на своём месте».

И понятно, никто не знал, как тщательно уже не первый год Алексей шлифовал свои выступления, впрочем, заботясь не только о содержании, но и о голосе, об оттенках голоса. Он свел до малости курево, старался не простуживаться. С речной галькой во рту часами тренировался ораторству... Любой доклад, любую записку чистил, чистил, чтобы без мусора, без лишнего слова, чтобы никакой корявости в языке, но чтобы и сухости, прилизанности не было. О, это целая наука! И ещё: Алексей научился читать доклады так, что казалось, будто он вовсе

не читает, а смотрит в зал, в аудиторию – беседует, говорит с людьми живым языком, а бумажка так – для формы или на всякий случай... Об Алексее уже вслух говорили как о перспективном партийном работнике. А ведь ему ещё не исполнилось и тридцати четырёх – капитанский же мостик уже отчетливо маячил.

– Ехать или нет – решать вам. Свое мнение – и это только мнение – я уже высказывал: ради детей – ехать. Вам все равно на хлеб зарабатывать – здесь, там. У них может появиться иной хлеб, хотя, конечно же, кто знает – и наши пути неисповедимые. – Алексей заметил, как Нина коротко глянула на него с жесткой усмешкой. Он прикрыл глаза, легонько вскинул перед собой сигарету, так что дым сложился в колечко, и продолжил, так и не прояснив себя: – О работе можете не думать – работа есть. Следовательно, главное – жилье. Лучше всего, тотчас бы и получить квартиру, но на заводе очередь – не пробьешься. Можно купить дом, но в городе такой будет стоить впятеро дороже. Можно перевезти этот дом. Но вряд ли стоит овчинка выделки: все на то же и выйдет. – Обреченно склонил Алексей голову, и над столом тотчас нависло уныние: ничего не получится. Но Алексей усмехнулся, открыл глаза – спокойный, уверенный, просветленный. И сестры в один момент то ли с гордостью, то ли с завистью подумали: вот за таким-то мужем как за каменной стеной прожить можно. – Вот я и подумал: а не купить ли вам плохенький домишко? Но домишко хитрый, перспективный. (И Нина поняла: а ведь этот доклад – для неё. Не поняла – зачем?) А именно такой домишко и напрашивается, перспективный. По-моему, вариант – для всех перспективный... Такие дома горисполком не разрешает продавать, но эта формальность за мной... Почему перспективный? – Алексей покровительственно улыбнулся: мотайте на ус – учитесь. – Дома под снос – они обречены, их даже ремонтировать не разрешают. На их месте через год-два-три начнут строить многоэтажные дома. Следовательно, жильцы получают квартиры. Вас пять человек: вот вам и предоставят трехкомнатную квартиру...

– Алексей, какой хоть домишко-то? – вдруг обреченно спросила Вера.

– Да какой! – Алексей и руки развел, усмехнулся: уж какой, мол, на снос. – Ну, как вот у Нины, такой вот... домишко, поменьше.

– Теплый? – под нос себе пробормотал Борис.

– Лисий, – наверно, подумала вслух Нина – и только Борис вздрогнул, резко вскинул голову, однако тотчас же и опустил.

– Домишко, домишко... сносить будут. А хозяйка старая, лет уже семидесяти пяти, она и квартиру не признаёт, вот и переселится к сыну – у сына тоже свой дом, а деньги, понятно, им не помешают... Для вас это лучший вариант. Но ещё раз говорю: вам жить – вам и решать.

– Коротко говоря, надо ехать, глядеть, на месте и обговаривать дело, – рассудил Борис.

– А что обговаривать? Мы с тобой все обговорили. Ехать так ехать – а по волосам чо плакать! Ты мужик – за тобой и слово! У нас мама покойная смелее была... чем мы. – И Вера вдруг – это было все-таки нервное что-то – неестественно бодро и до обидного бесцеремонно засмеялась.

– Что зубы-то скалишь! – негромко цыкнул Борис и засопел точно воз в гору потянул.

Дети насторожились – они-то знали, что бывает, если отец гневно засопит.

– А что, правильно говорит Вера: решать – дело мужское... Только вот мы, мужчины, почему-то отвыкли от этого. – И сказано это было так, как если бы Алексей категорически вычленил себя из нерешительных: да, мол, вот они какие, но я-то не такой.

– Оставь, ты... отвыкли, – возмутился Борис. – Отучили. Сравнили с бабами, вот и решения некому принимать. Шиворот-навыворот...

– Те-те-те... Это уже в тебе досада. Не надо, не надо накалять атмосферу. Личное – в другой раз. – Алексей подмигнул Вере, призывая к благоразумию, и чтобы тотчас разъять их, расчленить, нейтрализовать друг от друга, он обратился к Нине, тем самым переводя разговор в иную протоку: – А ты как думаешь, сестрица? Что помалкиваешь? Или молчание – золото!..

Ах ты, Лизавета наша Алексеевна: и глаза закроет, а видит, уши заложит, а слышит – вот и ты у нас в маму... Не молчи, человек, не молчи. – Алексей подмигнул Борису, похлопал по плечу Петьку – мужик, засмеялся – и напряжение за столом будто развеялось – так пасмурный день улыбается, стоит лишь надеждой проглянуть солнышку. И тем более неожиданно прозвучал вопрос:

– А не знаешь ты, братка, почему это люди нынче не пляшут, или разучились? – Бесформенные губы Нины горько преломились. – Да и петь – тоже как-то не поют. Тоже разучились?

Большаки ткнули друг другу под бока; Вера и Борис переглянулись – в недоумении. И только Алексей в тот же момент внутренне напрягся и сосредоточился. Не зря прошли годы, сказывалась и школа – привык к неожиданностям: он четко зафиксировал и определил подтекст вопроса и тотчас нашел единственно правильный ответ – в его положении:

– Э, сестра, задавай попроще вопросы! Откуда это мне знать, почему волки серые. А если знаешь – подскажи!

Не подсказала. Напротив, ещё и спросила:

– А как ты думаешь: есть ли во вселенной другая, такая же вот Земля, голубая планета со всеми её условиями, со средой обитания и обитателями? Или же Земля одинока и неповторима?

И на этот раз понял Алексей сестру – прекрасно понял, и вновь ушёл от ответа: он прикрыл глаза и сказал негромко с открытой грустью и сожалением:

– Жаль, но мы говорим о совсем другой среде обитания – о домике в районном центре, за который ко всему предстоит заплатить тысячи полторы заработанных рублей... А космос – пока не до него. Да и жить нам на земле и думать прежде всего надо о том, как построить счастливое будущее здесь, на земле.

– А я-то подумала, что ты все знаешь, а ты, оказывается, только о коммунизме можешь...

И как будто остановилось время – короткое тягостное молчание. И это был момент, когда каждый жил и думал особо.

Борис: «А девка-то, брат, не так себе, а кое-что. Ей палец на губу не клади, может и отхыкать... Только ведь чернушница – и ему не указ, он, брат, высоко огнездилился, его уже голой рукой не ухватишь».

Вера: «И что милая – все задирает и задирает, как залётку пришлого. Только ведь знаю – и ей он люб...»

Петька: «Дает стране угля: я думала, говорит, ты все знаешь, а ты ни хрена не знаешь».

Федька: «Вот чернушница, и что суётся, из-за неё и передумать могут. Уж молчала бы».

Ванюшка: «А я ведь за крестную заступлюсь. И никуда я и не поеду – вот».

Нина: «Господи, как Вавилон: все на разных языках говорим – и не понимает уже брат сестру, а сестра брата».

Алексей: «Значит, Нина Петровна, подсечь решила, жилы подрезать... Опоздала родиться, сестра... Отбрить тебя – жалко, промолчать – в вола начнешь раздуваться. Вот уж верно: язык наперёд ума бежит», – рассудил Алексей и спокойно сказал:

– Я знаю, что ничего не знаю, но знаю и то, что младшая сестра знает не больше моего – и, увы, наиболее далека от истины. Но если желания завелись, то теорией мы можем заняться за вечерним чаем, но только после деловой части, потому что здесь мы не одни. – Он лишь чуточку позволил себе напрячься, и голос уже прозвучал властно и холодно. И вот эта холодность и властность неожиданно для Алексея и смутили сидящих за столом, как тогда – после похорон матери. И Алексей понял – это отчуждение, понял и то, что вот сейчас же и может произойти нелепейший разлад, и ему придется сглаживать этот разлад, то есть проводить дешевую дипломатию. И Алексею сделалось не по себе, досадно... Да зачем все это и сдалось, ради чего, да пусть они хоть сто лет живут в этой Курбатихе – каждому своё. Разного мы поля ягоды, и что требовать и ждать невозможного! Встать, плюнуть да и уйти, уехать... И вот здесь Алексей

уже лгал – сам себе, даже против своей воли. Не встанет, не плюнет, не уйдёт и не уедет. По внешним приметам и признакам он был нужен Курбатихе и Перелетихе как опора, как имеющий силу и уверенность. На самом же деле в первую очередь ему были нужны и Курбатиha, и Перелетиха – вся близкая и до туманности далекая родня. Не он им, а они ему были необходимы – как воздух, как вода: только здесь, в этом непосредственном, доверчивом окружении, он вот так полно и естественно мог насладиться своим превосходством – они смотрели на него не просто как на брата или родственника, но и как на выходца, на собственного полпреда в той, казалось, большой жизни, как на человека, сумевшего вырваться из тесноты чёрного бытия – и воспарить в недостижимые для них высоты. Они любили его и любовались им – и это для него было более чем необходимо. Ведь повседневно на него до сих пор смотрели сверху вниз – даже жена, а здесь – на него смотрели только снизу, и не в силу условий и обстоятельств, а в силу искренней гордости за него. Он увозил отсюда новый заряд энергии, он подновлялся, и прибавалась новая неодолимая вера в себя – и она, эта вера, и подстёгивала, понукала и заставляла неустанно воспарять, воспарять над своей мерзкой подчиненностью. И как же ему порой не хватало матери и заволжской родни!.. О, если бы все вместе, если бы все заодно – какая бы это была толкающая энергия, особенно когда подрастут племяши, хоть небо штурмуй! И в городе нужна хотя бы временная подпорка, слепое восхищение.

А вот теперь прихлынуло разочарование, тоска, появилось желание навсегда уйти, уехать. И трудно сказать, как бы произошла разрядка, но свою лепту внес Ванюшка:

– А я, папа, а я, мама, – он говорил тихо, но в общем молчании слова его прозвучали четко и даже по-детски твёрдо, хотя с каждым словом он все ниже опускал свою белёсую головёнку, – и никуда я не поеду, останусь с кóкой в Перелетихе и женюсь на коке, а вы к нам в гости приезжать станете...

Ванюшка так и не договорил фразу, как будто с облегчением все засмеялись. Ишь, жених! На тётке-то родной или женятся! Ну и Ванька-хлест! А ведь и не поедет – гусь лапчатый...

А Нина с трепетом в душе обнимала Ванюшку и смеялась тихо и радостно.

– Ну, по такому случаю не грех и по рюмочке, – добродушно предложил Алексей. – Борис, достань, там, у меня в портфеле.

И одно упоминание о портфеле, ну, вдохновило Бориса...

Отвлеклись, точно и думать перестали о возможных или предстоящих трудностях, не говоря уже о том, чтобы продолжать нелепый застольный спор. Но и Алексей, и Нина чувствовали в себе напряжение такое, когда нет, казалось бы, ни зла, ни обиды, но когда безостановочно подмывает и подмывает желание что-нибудь съязвить, зацепить соседа. Алексей и не удивился, что Нина так-таки и спросила:

– А я ведь серьёзно вполне: почему всё же люди плясать перестали или разучились? Ты понимаешь, о чем я.

На сей раз Алексей решил полусерьёзно отболтаться:

– Видишь ли, Нина, – он откинулся на спинку стула и широко развел руки, – если бы я смог ответить на этот вопрос, то не протираю бы штаны в райкоме комсомола, протираю бы их где-нибудь в Москве... Более того, могу в дополнение тебе сказать о существующей ныне и «магнитофонной» проблеме – это непосредственно касается меня как секретаря райкома комсомола. Вот, скажем, стоят на улице парни, собрались компашкой, бренчат на гитаре и мяукают Окуджаву, а то и вовсе орут черт-те что – это в лучшем случае. Но чаще всего идут кучей молча, смолят сигареты, у кого-то в руке мощный магнитофон – и вот этот «маг» орёт за всех на языке тамбу-ламбу под визг или гром. Вот это и есть магнитофонная проблема – проблема отупения. Откуда она? У нас что, своих песен нет, своего языка нет? И это только начало: то ли ещё будет! – не зря предупреждает девичка-певичка... Вот, к примеру, я тебя и спросил бы: почему, откуда все это?

– Если бы спросил, то я, пожалуй, ответила бы. Только мой ответ тебя не устроит...

Алексей резко вскинул вверх руку с воздетым указательным пальцем:

– Вот именно! – воскликнул он. – Правильно ты сказала: не устроит! Потому что ты будешь отвечать вообще, в целом, в общем, а мне надо конкретно, чтобы враз – и действительно, тотчас и в дело, чтобы завтра и пошли бы по улице с песней «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Вот мне как нужно отвечать, а не в общем. Мы – прагматики, рационалисты, а вы – идеалисты: пришла маниловская идея – вот и можно тешиться, пока не надоест. – И Алексей почувствовал, как сладостный комок перекатился в горле, а это значило, что он вопреки желанию обретал рабочую форму и слова его становятся пробойными...

А между тем Борис, выпив первую со всеми, со скукой слушал разговор. Жена и вовсе отвернулась от стола к телевизору, и тогда Борис налил себе ещё стопку и ещё и уже вскоре осовел... Бориса, казалось, если и волновало, так это лишь то, а будет ли в городе лучше, а что до Курбатиhi, так провалилась она пропадом... Долго раскачивала его жизнь, пока в конце концов не подломился становой корешок – и сорвало с места, и понесло-поволокло: а теперь безразлично – лиха беда сорваться.

Алексей говорил легко, без внутренней суеты, без придыхания, без заминки – и так он мог говорить и час, и два, и три:

– Нам не нужна трескотня, нам не нужна утопия, мы люди дела, и конкретные дела – наша стихия. Но коммунистическое строительство не догма...

– Остановись, не надо. Не надо – и все... Я ведь тоже Струнина, оба мы – Струнины. Я и сама что-то соображаю, темню в своем одиночестве... не зря вы меня, видать, «чернушницей» зовёте, знаю об этом, правда, не знаю, какой смысл вкладываете вы в это слово – или болтушка, или монашка? – только ведь ни то ни другое мне не подходит... Ну, да ладно, я не сержусь. И ты не сердись, мы ведь брат с сестрой – все мы родные. – Нина помолчала, а Алексей, кажется, впервые заметил на ее лице отвлечённое мышление, заметил и подумал: «А ведь умная девка, вот тебе и в мамку». – Знаешь, брат, а ведь всё, что ты сейчас говорил – демагогия, самая настоящая социалистическая демагогия. (От слов этих Алексей буквально похолодел – такого ему ещё никто не говорил – ни на каких уровнях.) Реальность, влияние, коммунистическое строительство, завтра, сегодня, сейчас, трескотня, утопия, стихия – это пустые слова, оболочка пустоты, то есть демагогия. И пока эта демагогия жива и развивается, вы будете заняты ею, а людей-то живых мимо глаз пропустите. Я говорю «вы», потому что ты сам так размежевался... Ты думаешь враз – и заставить молодёжь другие песни петь, а там – определяют конкретный год, когда объявить коммунизм. Вот и то и другое – демагогия. Есть психология нации, национальности – и эта психология формируется не одним днём – веками. Но как ребенку труднее привить доброе и разумное, чем неразумное и злое, так и обществу людей – тоже. Разрушить устоявшиеся нормы-традиции можно, но чтобы хоть восстановить порушенное даже при идеальных условиях, потребуются многие десятилетия... А вы: откуда? Как? Смирно – завтра же изменить! Не изменишь, пока не поймешь ту самую идею, о которой ты только что говорил, а поняв, пока не определишь нравственный идеал, а уж потом поведешь спокойную работу. Человеческую душу штурмом не возьмешь, она ведь посерьезнее марксистских идей, она ведь, душа-то, живая – и смириться может, и вознегодовать...

И Алексей забеспокоился, занервничал: нет, не потому, что сестра отчитывала, а потому, что она отчитывала именно так, как сам он не смог бы отчитать, и вот на это, он понимал, у него не найдется возражений, а если и найдутся – демагогические. И ещё потому он нервничал, что не верил, что сестра говорит от своего ума – ему уже страсть как хотелось убедиться, что она не от себя, и он уже не сомневался в правильности своей догадки, он сказал, всё-таки удерживая раздражение:

– Пожалуй, вполне умно... Но скажи, кого или чего это ты злопыхательского начиталась? Какие столпы демагогического идеализма глаголют твоими устами? С чужого голоса говоришь, сестра.

Нина засмеялась:

– Ну, братка! Сниму с плеча – не твоё плечо... Мало ли что я читаю. Ты ведь тоже читаешь и говоришь тоже от имени столпов... Э, лишь бы не от имени столбов! – И всё смеялась, весело, открыто. – А ты как-нибудь зашел бы да посмотрел, что твоя сестра читает, чем забивает голову... Книжки-то ведь и у меня есть. Деревня-то рушилась, а книжки как из-под земли всплывали, я и собирала. От Веры Николаевны, учительницы покойной, шестьдесят четыре книги принесла, и знаешь – не учебники для начальных классов. Вот и читаю. И вычитала, не помню где, что люди, если они пляшут охотно, даже при тяжелых бытовых условиях, то это от духовно-нравственного здоровья... А теперь вот никто и не пляшет, подумать только, в деревне не пляшут – вот и суди. Нет нравственной основы, здоровья нравственного нет...

Алексей смотрел на сестру, как на глухонемую, вдруг заговорившую. Не мог согласиться, что перед ним воистину младшая сестра – та самая, которую, считал он, судьба обошла стороной, оставила обездоленной, которую и всерьез-то он никогда не принимал. И теперь вот глухонемая заговорила, и не просто заговорила...

– Ну, сестра, ну, Нина Петровна! – Алексей несвойственно для себя дурашливо гоготнул. – Я-то думал, ты всю жизнь молчать будешь, ну, да ещё заплачешь под старость. А ты – заговорила!

Нина как будто задохнулась – это ведь надо: так вот и оскорбить.

– Как бы тебе, Алексей Петрович, самому не пришлось плакать под старость-то лет. Прозреешь вдруг – и заплачешь, потому как, может, поймешь, что на бирюльках всю жизнь играл.

И Алексей вновь вздрогнул: на какой-то миг показалось или подумалось, что вся жизнь его, весь его путь доньше – ложь, и что он действительно спохватится, и что действительно поздно.

– Не рано ли в пророчицы записалась, сестра? – с подчеркнутой строгостью начал он, но тотчас же к нему возвратились разум и такт: на кого негодовать, на младшую сестрёнку! Да её жалеть надо. Она ведь и язычок-то выпускает для самоутверждения, хотя бы вот здесь. – Сдаюсь, сестра, сдаюсь на милость победительницы: не вели казнить...

Однако напряжение уже сгустилось.

Ванюшка тихонько подошёл к крёстной и приткнулся к ней сбоку.

Петька с Федькой, вытянув шеи, с укором уставились на Нину.

– И что уж на самом деле, и что вы сёдни, ну, кошка с собакой, право дело... Или уж не об чем и покалякать, нашли об чём... – Вера обиженно поджала губы, а глаза её в тревоге умоляли не ссориться.

– Ты, Нинуха, брось эт-та мужиков заbijать, и так уж нас бабы затуркали... Собрались на совет: как быть по части переезда, а вы так это под крендёлек – и на прогулочку вдвоём и отправились.

– Эх, как мудрено по древу растёкся! – посмеиваясь, восхитилась Нина. – Только ведь мы, Борис Федорович, об этом, о переезде, и толкуем, да начали как-то из подворотни.

– Это точно – из подворотни, – примиренчески согласился Алексей...

Вскоре Вера ушла поставить самовар, занялась своими извечными делами.

Борис незамедлительно допил всё, что ещё оставалось на столе, поднялся, брезгливо махнул рукой на телевизор и ушел в прихожую, где тотчас забрался на печь отдохнуть, а вернее – завалился спать.

Нина легонько подтолкнула Ванюшку к телевизору, и крестник послушно влез между братьями на диванчик.

– Ты зачем их туда тянешь? – И голос её был налит такой силой и твёрдостью, когда уже двойственности или уклончивости в ответе и быть не может. – Или, думаешь, и счастье им добудешь?

И Алексей невольно расслабился, даже вздохнул с облегчением – он понял, что пора освободиться от гнета официальности, от тяжкого постоянного самоконтроля и говорить с сестрой спокойно и откровенно.

– А я ведь их и не тяну, Нина. Они сами... И счастья там они вряд ли добудут, по крайней мере, старшие, родители. – И как же было, оказывается, легко – говорить откровенно, как непривычно просто: говори и не запоминай каждое своё слово, не напрягайся, чтобы удержать эту цепную реакцию правдоподобия. Губы Алексея так и изгибались в улыбке. – А то, что я им помогаю или пытаюсь помочь, так ведь это и определяется не словом «тяну».

Нина не удивилась такой перемене, вернее, она не поверила открытости брата, потому и сказала:

– Тянешь. Может быть, не прямо, а тянешь.

– Да нет же, Нина. Они сами, и если их остановить, осадить здесь – весь свой век они так и будут считать себя обездоленными. Внутреннее состояние человека и определяет ему его место – вот ведь в чем штука... Я понимаю тебя. Думал я об этом и раньше, ещё там, в Заволжье: нельзя вот так всем гуртом срываться с места – для отчленения кого-то должна быть объективная необходимость, субъективная предпосылка, что ли... Правда, тогда мы с матерью бежали от гибели – такое было время. А вообще – так нельзя. Нельзя, – твердо повторил Алексей и потупился, сосредоточенно хмурясь.

А вот – почему нельзя? На этот вопрос Алексей не ответил да и не смог бы ответить. И это потому, что ответить на этот вопрос для Алексея значило бы перечеркнуть себя, то есть даже не себя, а дело, в которое веришь, которому служишь без остатка и в котором ещё только предстоит разочароваться. Он близок был к пониманию этого вопроса, но понять – это ещё не ответить.

Лес сплошняком вырубать тоже нельзя, преступно, но вырубают...

Нельзя, нелепо созидать разрушая. Алексей же уверовал – можно. Был он даже убежден, что только при разрушении и можно созидать – будь то дом, будь то общество людей. Всегда и всему есть оправдание. И хотя живая жизнь противилась этому, всё же он полагал, что это лишь временные неувязки. И конечно же, он не мог согласиться, что налицо пока одно – разрушение: домов, хозяйств, земли – и человека.

– Вот видишь, ты вроде и понимаешь, как должно быть, а живёшь и думаешь наоборот. Загадка времени. – Нина помолчала, чему-то улыбнулась. – Все мы, выходит, как слепые, и ходим, как слепые, по кругу и не можем понять – откуда уходим, куда идем. Внутренний покой потеряли, личное достоинство утратили, веры нет. – И уж совсем неожиданно, переключившись, Нина спросила: – А ты, брат, веришь, что когда-нибудь наша Перелетиха, ну, как птица феникс, из пепла восстанет?

– Нет, сестра, в это я не верю, потому что вспять не бывает, – с некоторой даже поспешностью ответил Алексей – и удивился своей поспешности.

– Не веришь... А я вот – верю.

И сидит перед ним вовсе не сестра, а грёзовая незнакомка, которая и грезилась в первой юности: и красивая, и умная, и милосердная, с которой рука об руку можно идти и идти через океаны вселенной... Но это лишь мгновенное затмение: Алексей тряхнул головой и предупредительно спросил:

– Ты что-то хотела сказать?..

– Хотела... Понимаешь, я ведь давно знала и теперь даже не сомневаюсь, что они – уедут. Знаю почему, и что пожалеют – знаю, всё мне это ясно... Но вот хотела бы я тебя ещё об одном спросить, а не знаю – как спросить. Все равно ускользнешь от ответа. А спросить надо. Ты ведь у нас один при голове и портфеле.

Алексей добродушно закивал:

– Ну, если так, то спрашивай, уж как-нибудь...

– Понимаешь, это даже и не вопрос, если вопрос, то себе, понимаешь ли, чтобы и свои сомнения разрушить...

Нина помолчала, обострившимся слухом улавливая одновременно как будто сторонившиеся звуки неумолимо текущей мимо жизни: позвякивание посуды, придавленный голос диктора телевидения, посапывание Ванюшки, угревшегося промеж братьев, и где-то далеко – за окнами, за деревней – приглушенные непогодой удары железом по железу, как по льду: ть-юю, ть-юю...

– И вопрос-то короткий, простой: куда делись праздники?.. Ведь мы живем без праздников. Даже рождение человека – сегодня не праздник, скорее, наоборот. О смерти – и говорить нечего... Незаметно гасли, гасли мелкие праздники быта, пристольно-духовные – и угасли. Только и остались в ложном блеске праздники трибун – с колоннами, наглядной агитацией и пропагандой, с дурным беснованием перед микрофоном. И все. И получается, что самый что ни на есть праздник, когда у мужика водки до поросычьего визга... С одной стороны, жизнь – сплошной рай, праздник, а с другой – жизнь-то без праздников...

«А ведь и я об этом думал не раз, – уже медлительно, с трудом соображал Алексей, – думал, только не так вот прямо, в лоб. Торжественности в праздниках не стало, героики революционной, социалистического патриотизма не хватает – ослабили идеологическую работу, как будто генеральную идею потеряли, девальвировались... Я организую демонстрации-праздники с полусотней комсомольцев, не организуй – ничего не будет... А ведь праздник, действительно, это когда душа ликует, когда слезы из глаз от избытка чувств, когда ноги сами приплясывают или подкашиваются – это когда всех охватывает одно, общее, родственное ликование». И попытался Алексей вспомнить такой день, такую минуту, когда бы всеобщая душа ликovala, – и не смог вспомнить, память затормаживалась только на детстве: 9 мая 1945 года. Ничего подобного с тех пор не суждено было пережить, хотя бы в слезах... Невольно вспомнилась районная трибуна на площади, где и он уже не первый год весной и осенью как секретарь райкома комсомола – и эти рядом постные лица руководящего аппарата: все воспринимают действие как мероприятие... А как-то один из подчиненных инструкторов сказал: «А я когда смотрю со стороны на трибуну и на мимо идущих людей, мне всегда в голову приходит нелепость: на трибуне, вот, надзиратели, а мимо проходит покорное и непокорное стадо – надзиратели и следят, не выбился ли кто из общего строя...»

Тогда пришлось поставить в строй этого расслабившегося во хмелю доброго молодца, круто, внушительно пришлось поговорить... А вот теперь припомнилась двухлетней давности реплика – и удивился Алексей: а ведь, простите, точно подмечено.

«Следим – и сразу на карандаш: у того оформление плохое, у тех – с людьми жидковато, а у этих пьяных много – принять меры, и принимаем... А что же Нинке-то ответить? Протицирую я ей...» – И Алексей уже улыбнулся, и развел на стороны руки, и, казалось, слово уже завибрировало в горле, когда в прихожей стукнула входная дверь и почти тотчас плеснулся изумленный голос Веры:

– Батюшки, свят! Да кто приехал-то!

И в ответ мужской голос:

– Подождите, тетя Вера, руки у меня грязные, упал... Грязи тут у вас – как на полигоне.

Никто не успел подняться с места, однако выжидающе все повернули головы к двери.

В какой-то момент Алексею представилось, что в комнату в сопровождении Веры вошел Фарфоровский – тот, спортивный, изящный Фарфоровский пятнадцатилетней давности. И даже сердце ёкнуло, взгляд помрачилось, но уже в следующую минуту, поднимаясь со стула, Алексей добродушно воскликнул:

– Гришка! Мать честная! Мужик – по когтям видно! – И, пожав руки, они с племянником обнялись...

Гриша повторял отца – но это был уже другой человек: не хватало отцовской надменности – и выглядел Гриша больным.

Когда и Нина обняла и поцеловала племянника, причем, по-матерински припав к его плечу, Гриша повернулся к братьям:

– Ну, здорово, братаны.

Петька с Федькой – понятно! – одного он хлопнул по плечу, второму ткнул пальцем в живот, но заметно было, что все это время гость косился на Ванюшку. Наконец повернулся и к малому, и они с полминуты молча смотрели друг на друга.

– Ну а ты что на меня так смотришь, братец Иванушка? – без улыбки, серьезно спросил Гриша.

Ванюшка поморщился и негромко спросил:

– Ты – Гриша, да?.. Это ты несчастненький, да?..

Кто-то из большаков резко поднялся с диванчика: цвенькнула пружина, и в тишине долго отчетливо колебался и вибрировал этот пружинный утробный звон.

Часть вторая

Глава первая

1

Наверно, никто не смог бы теперь сказать, кем и когда впервые было названо озеро «Сашенькиным». Называли озеро Боровым, Лесным – оно ведь и открывалось в бору, – называли так и в начале двадцатого века, и в пятидесятых годах, а вот уже к концу пятидесятых, казалось, напрочь забыли и Боровое, и Лесное: Сашенькино... А Сашенька Шмаков вплоть до своей кончины в летнюю пору так и бывовал вокруг озера – какая-то неведомая воля влекла его сюда. С одной стороны к берегу прилегал орешник, а Сашенька любил собирать лещину и угощать любого встречного, только ведь с годами он уже и орехи не собирал, а на озере бывал неизменно. Сядет, бывало, меж кусточками на бережку и замрет, так что не сразу и заметишь – сидит смирно и глаз не сводит с Дома рыбака, точно в опале великой судьбу свою дежурит. Случалось так – весь день на озере и просидит голодный, а то и под дождём. И никаких тут дел ему, лишь беспросветная больная идея.

Как и вообще вода в лесу, озеро было красивое: в опушке орешника и ольшаника, покрытое под берегами лилиями желтыми и белыми, оно казалось светло-зеленым лесным самоцветом – не возмутится, не зарябит под ветерком, и только небо движением облаков поколеблет зеркальную гладь воды. Всплеснет рыба – и встрепетается озеро, спорхнет птица – и упадет на воду, кружась или раскачиваясь лодочкой, листок с ветки... И не случайно лещие издавна облюбовывали такие места.

Но как и все лесные водоёмы, без хозяина одичавшие, озеро было неудобное, коряжистое и заросшее – ни с какими снастями за рыбой к такому озеру не подступишься. Да и рыба в таких озерах обычно переводится.

Был в одном месте бережок пологий с чистой водой, здесь и купались подростки в жаркую пору, приходя в лес по грибы, по орехи.

До войны, правда, навевались на Лесное озеро и перелетихинские, и курбатовские мужики с бреднями, да и то любители, да и то артельно, да и то, как правило, под престольный праздник Петра и Павла или к сенокосу. Рыба-то водилась, но пока выберешь из мотни корзину карасей да линьков, глядишь, на берег и выволокли гору тины да травы.

А потом война – и вовсе заросла тропинка к озеру.

* * *

В начале пятидесятых годов Будьдобрый неожиданно и занялся озером. Встретил в Горьком друга-фронтовика, оказалось – рыбовод, в Горьковское водохранилище малька завозит. Вот и предложил приятель по-свойски безо всяких-яких и оплаты принять малька хоть карпа, хоть толстолобика – ещё и объяснил, что к чему. Даже подсказал, как спаренными боронами озеро вычистить. Вот и задумался Будьдобрый – дармовое мясо под боком. В самую межень после сенокоса и отрядил председатель подростков озеро чистить, заодно и рыбу ловить – вот и вся оплата за труд. И ведь вычистили, плохо ли, хорошо ли, а вычистили, да ещё карасём Перелетиху обкормили. А тут и малек прибыл. Пришлось-таки Будьдоброму раскошелиться – нет, не за малька, а за транспортировку и другие услуги шофера – пришлось отстегнуть из

тощей колхозной мошны. И ещё всего-то разок запарили отрубей пять фляг для подкормки мальчика.

То ли хищника в озере не было, то ли озеро такое сытное, то ли просто подходящие условия – перезимовал и прижился малек.

Сам Будьдобрый вроде бы уж и плюнул на свою затею, не самому же этим делом заниматься, да только затея та сама наружу и выплыла.

Уже на следующий год ближе к осени по Перелетихе прошла весть: парнишки из лесу лещей принесли, в корзину в траве наботали, правда, и на леща не положи, и не караси, но рыба. Будьдобрый спохватился: на неделе собрал способных мужиков, раздобыли где-то довоенный бредень и подались на промысел. И каково же было удивление, когда под изодранным об коряги бреднем да под травой-крапивой в деревню привезли полную телегу-бестарку крупной рыбы, как позднее выяснили – толстолобик. В счет трудодней рыбу эту и разделили колхозникам. И вот тогда уже, ещё и гром не грянул, Будьдобрый забеспокоился – быть беде.

И предчувствия оправдались. Да это были и не предчувствия, а простое знание жизни. Вскоре председателя вызвали в райком партии, причем прямиком к первому. Беседа началась без предисловий:

– Ты что, под суд захотел?! – Точно вибратор мелко тряслась нижняя челюсть секретаря. – Ты что – под суд!.. Под суд...

Никому не рассказывал Будьдобрый, как и в каких выражениях объяснялись они с первым, но через полчаса секретарь проводил председателя, дружески похлопывая по плечу и улыбаясь.

И навеки забыли сельчане о Сашенькином озере. Но с тех пор застучали в лесу топоры и моторы, заплясали ночные костры, нарушили привычный лесной быт голоса и мелодии эфира.

Мало-помалу и обжилось Сашенькино озеро. Сначала, понятно, пробили просеку для транспорта. Появились на берегу машины – «Победы», газики, «Волги», – затем машины и палатки. А уж к тому времени, когда Перелетиху со всеми ее угодьями пристегнули к Курбатице, Сашенькино озеро обрело свой колониальный статус. На поляне уже возвышался Дом рыбака – с банькой по-белому, с лодками на воде. Правда, чистили озеро с одного только края, но не потому, что берегли рабочую силу, дикий пейзаж берегли – для души утешно.

Рыбаки и рыбачки здесь менялись, неизменным на лесном озере оставался один человек – Сашенька... Не раз прищельцы пытались даже турнуть этого въедливого наблюдателя, но тщетно: Сашенька исчезал на день, на два, но затем вновь появлялся. В конце концов к нему привыкли – озерная достопримечательность. Собственно, рыбакам он не мешал, но нередко смущал их своим присутствием – ведь кое-кто из рыбаков знал и помнил Шмакова в здравии.

* * *

Алексей Струнин был внесен в список допущенных, хотя личной комнаты в Доме рыбака у него, понятно, не было.

– Нос не дорос! – сам над собой посмеивался Алексей.

Тогда уже он умел и посмеяться, и пошутить над собой. Вылечила и просветила его партийная школа, и Алексей сожалел лишь о том, что мало пришлось побыть-поучиться, повращаться в новой для него центрифуге, где от тебя отскакивает любой шлак, любая окалина и накипь. Именно в ВПШа он до ощущения приторной сладости во рту, до чувства хмеля вдохнул в себя тот воздух, ту атмосферу, до трепета в груди воспринял ту стихию, в которой ему предстояло до упоения жить и работать. И Алексей буквально звериным чутьем усек и определил, что он не последний и в этой стае, но что для будущего редакторского курса ВПШа – мало. Уже на втором году Алексей параллельно учился на заочном отделении юридического института... И ещё он понял – и согласился с тем, что в жизни любого человека есть некая пред-

определенность, раньше это, возможно, и называли судьбой, а если так, то надо лишь понять – и всё второстепенное воспринимать легко и даже беспечно, извлекая полезное и необходимое для себя... И лучше, если тебя чуточку недооценивают – всегда остается запасец прочности.

Так и сделали Алексея штатным сопровождающим от райкома. Кто бы ни приехал из области, только и шепнут: «Отвези, организуй как следует, сам знаешь...» И Алексей увозил, привозил, организовывал – и действительно как следует, так что уже вскоре стал незаменимым человеком.

Но даже из «побегушек» он извлекал навар. Для многих обкомовцев Алексей оборачивался своим парнем: ведь ему приходилось не только ловить с ними рыбку на озере, но и делить бражное застолье, случалось, кое что и организовать для услады, кое-чем и поделиться.

2

Дом рыбака давно был обжит, ухожен и имел даже своё лицо. В «общественной» просторной прихожей, как в корчме, большой грубый стол с широкими скамьями на чурбаках по сторонам. Здесь, в прихожей, была и русская печь, и современный шкаф с комплектами постельного белья и посудой, и вечно веселый холодильник «Зил». На озере, собственно, было всё – от уюта и рыболовных снастей до постоянного рабочего-сторожа Шитикова. Здесь можно было не только с удобствами переночевать, но при желании провести и целиком отпуск, правда, желающих не было, хватало курортных путевок.

В тот день к навесу приткнулось две «Волги» – ждали третью. Коротали время в мирной беседе. Ни у Ракова, ни у Алексея, ни тем более у Косарева, обкомовского аппаратчика, желания поудить рыбку на червячка не было. Зато у Шитикова в корзине-морде всегда имела рыбешка про запас. Он привычно уже возился возле кострища, чтобы развести огонь и сварганить ушицу «с угольком».

С дороги все уже умылись и даже обкомовский гость снял галстук и привольно вытянул ноги под стол – босые, в шлепанцах. Экая ведь благодать возможна даже в заштатной провинции! Что значит секретарь-хозяин. Беседовали Алексей с Косаревым, Раков молчал. Плохое было настроение у председателя. Он и на озеро-то согласился, надеясь хоть как-то развеяться. Не хотелось верить, что вот так категорично, по-прежнему всё и решается – и никакой самостоятельности.

Косарев курировал их район по сельскому хозяйству. Вчера на расширенном заседании райкома он доложил о новых мероприятиях в области сельского хозяйства, рассказал о молдавском почине, о строительстве и рациональном использовании животноводческих комплексов, ознакомил с научно обоснованными проектами железобетонных дворцов для коров и свиней... А сегодня Косарев побывал в ряде колхозов и совхозов, приглядывая более подходящие для эксперимента хозяйства. В числе первых трех он и присмотрел Курбатику – это окончательно и повергло Ракова в уныние. Он ведь прекрасно представлял, что такое – коровы без выпаса или свиньи в три этажа. А главное, он даже себе не мог ответить на вопрос: зачем это? И в то же время прекрасно знал: наверху решение принято – все будет внедряться, воплощаться в хозяйственную практику. И практика со временем все это отвергнет, как уже отвергала не раз, в том числе и многоквартирные дома лубочных агрогородков..

Лишь краем уха Раков улавливал разговор, но и тогда удивлялся: они говорили о предстоящей ухе, о холодном пиве, о рыбалке, о скором отпуске и в общем ряду, между прочим, упоминали и о комплексах как о деле настолько ясном, перспективном и правомерном, что и сомнений уже никаких нет и быть не может... Либо они ничего не понимали и не хотели понять, либо им все безразлично, как будто и весь-то социализм строили они из кубиков без привлечения людей. То, что с Алексеем бесполезно говорить о деле, Раков знал: этот или «уйдет», или вполне серьезно заявит: ваше дело – вот и думайте, каждому своё... Но ведь Косарев – партий-

ная власть. Так неужели с таким безразличием можно стоять у власти – и строить из кубиков! Что ему скажешь, о чем спросишь?.. И все-таки именно с Косаревым хотелось бы поговорить откровенно – не решать какие-то вопросы, не искать решения, но хотя бы уловить, понять возможный официальный ответ на свои задумки, о которых пока знает один-единственный человек – агроном Струнина...

– А что, Евгений Иванович, в Италию с делегацией ездил, так как там насчет этого дела – пьют мужики? – Алексей легонько пощелкал ногтем по запотевшей из холодильника бутылке.

Косарев самодовольно улыбнулся: экий, мол, проныра, знает, что в Италии был в составе делегации. И всё же приятна такая осведомленность.

– Я ведь не только в Италии, я и в Канаде бывал, и во Франции... Везде пьют, но пьяных не видно – культурно пьют...

– Это вот как мы? В зачёт культурно-массовых мероприятий. На лоне природы и с закуской! – Но уже тотчас Алексей переключился на другой тон: – Это липа – культурно пить. Где уж пьянство, там не может быть никакой культуры. Просто, значит, меньше пьют.

– А ведь ты, Алексей, не дослушал меня, прервал – и принялся увесисто просвещать... асфальтовым катком.

– Да ну! – нимало не смутившись, воскликнул Алексей. – Надо же! Становлюсь завзятым райкомовцем, хоть застрелись. А я всё-таки перелетихинский, а в Перелетихе у нас не велось такого, чтобы старших с горы толкать... Честное слово, исправлюсь, я послушный, вы уж только, Евгении Иванович, продолжите свою мысль.

– Да какая, к чертям, мысль, да и никакой мысли... Ведь на любых уровнях всякий раз заходит разговор об алкогольной политике, то есть об алкоголе как о государственной статье дохода... Так вот я и хотел сказать: научим пить культурно – и проблема снята. Главное, чтобы питье не мешало трудовой активности.

– Научишь, – пробормотал Раков, – хрен вот научишь: нажрёмся, да ещё и похвалимся на весь мир – вот мы какие, богатыри... башмаками по трибуне стучать могём.

– Стучать-то всяко умеем, – ввернул Алексей.

– Это уж точно, – сокрушенно согласился Косарев, – любим крайности, любим.

– А что, Евгении Иванович, крайность-то согреется. Пока холодная, и выпьем за гостя. И звякнули рюмочки...

День был теплый и тихий; небо облачное – ни жары тебе, ни духоты. И даже в полдень, когда обычно лес дремлет, пели птицы, в сплошных листьях кувшинок лениво и упруго играла рыба. Шофер с черной «Волги» рыбачил на удочку. Видать, плохо клевало, и он все глубже зарывался в кустарник. Ворча под нос, от костра косился на рыбака Шитиков – не любил он этих оболтусов-шоферов, очень уж своевольны и нахраписты. Белёсо дымился костерок. Углей и горячего пепла было достаточно, и Шитиков глиной из ведра обмазывал крупных толстолобиков, чтобы подложить затем под костер – побаловать гостя печеной рыбкой.

А гость с Алексеем привольно покуривали на крылечке, шурясь прямо-таки на картинный лес, на черноплодную у крыльца рябину, на которой, казалось, и листьев нет – сплошь ягоды; да изредка поглядывали на дорогу – пора бы и за уху, а Сам не едет. Но даже оттяжка ухи «с угольком» не могла испортить настроения! Все здесь дышало такой отрешённостью и тишиной, что надо было родиться Раковым, чтобы сопеть и хмуриться.

Алексей уже намеревался взять спиннинг и показать незадачливому шоферу, как здесь надобно брать рыбку, когда до слуха прорвался шум мотора. И уже через минуту из просеки к озеру выскочил красный «москвичишко». Алексей безошибочно признал машину приятеля – ответственного секретаря районки – и удивился: с какой бы стати решил завернуть?!

«Москвич» нырнул в озерную низинку и не сбавляя скорости выскочил на площадку к дому – тормоза резко визгнули: «Москвич» встрепенулся, задрожал и замер. Дверца открылась и из салона, точно поплавок из воды, вынырнула жена Алексея Ада – вот так номер!.. Алексей

было востропел, однако кроме сосредоточенности на лице жены ничего не прочел – стало быть, все в хорошо.

И Алексей восхитился женой и даже вдруг стихи вспомнил, когда-то читанные ей, но, казалось бы, навсегда забытые: «Я так долго тебя искал, По земле серым волком рыскал...» Ведь не девочка двадцати лет – уже тридцать семь, а прелестна, а энергична – живая юность!

На жене были кофейного цвета узкие брючки, кофта лопушками с широким рукавом, на голове косынка с узлом на затылке. Ну и как обычно – косметика на высшем уровне... Нет, что ни говори, а жертва с её стороны была, когда – горожанка двенадцатого колена! – всю жизнь прожившая в Горьком, Ада согласилась ехать в эту дыру – и уже пятый год! В шутку она и соглашалась на пять, на пятерку, на пятилетку...

Ну, Ада, ну, молодец! С каким достоинством поздоровалась она с гостем, как мгновенно подрезала его небрежительной усмешкой – так и заподергивал Косырев босыми ногами, никак не находя им места. Как же ловко и обворожительно прибрала она мужа под руку и увлекла для личного собеседования... И вот эта Ада живет в районном захолустье – да ей в Москве место, на любой площади!

«Все ясно – жена права. Надо ехать, не откладывая ни на минуту. Пусть этот гусак и посидит с Косаревым, скоро и Сам приедет. Всё. Привет».

Алексей на ходу натянул на круглые крепкие плечи серый без подкладки пиджак, повел руками, чувствуя, как во всем теле тайно играет упругая сила.

Косарев пристальным взглядом проводил Алексея, подумав: «А баба-то у него... из тех, и сам он мужик-хват – не засидится... Но далеко вряд ли уйдет», – уже холодно подвел он черту.

Стукнула дверца машины, коротко простонав, утробно уркнул мотор – и «Москвич» под рукой Ады круто развернулся в обратный путь...

Вошел Шитиков, мужик средних лет, кургузый и крепкий... точно из кряжистого комля вытесали, но только лицо успели обработать – и оно у него было молоджавое, гладенькое, чистенькое, с выразительными глазами – по-собачьи преданными и лукавыми. Шитиков был рационально медлителен и в движениях, и в разговоре: попусту не тратил силы, а ну как ещё пригодится... Он вытер полотенчиком руки и сказал монотонно, ни к кому не обращаясь:

– Можя, ухи похлебать горяченькой? Готова... Можно и погодить. Так я на воде буду, – пробубнил в ответ и все так же мерно пошел прочь.

– Подвигайся, Раков, повторим, – предложил Косарев, присаживаясь на этот раз не на скамью, а на потертое полужесткое кресло.

Нет, не с этого намеревался Раков начать разговор, да и вовсе не хотел говорить об этом, не намеревался просить – бестолку. А вот как-то так само собою и вышло: открыл глаза, вздохнул и сказал:

– Косарев, мы с вами одного поколения, пять-шесть лет не в счет, так что возрастного барьера не должно быть. И образование у нас у обоих сельскохозяйственное, и оба мы русские... А что, может, обойдем Курбатику с комплексом?

Косарев легонько подергивал себя за мочку уха и молчал. Молча он наполнил рюмки, молча, без предложения и приглашения, выпил, поморщился – и молча покачал головой: нет, не обойдем.

– Я так и знал. А почему так – дело десятое... Слушай, Евгений Иванович, – Раков поерзал на скамье, – я тут как-то почти всю ночь просидел с председателем-пенсионером, знаешь, литр водки выпили, а ни хрена так толком и не разобрались в понятии. Так вот честно, от души прошу тебя: объясни мне, дураку старому, объясни с партийного взгорка: что значит – неперспективная деревня?... Вообще, что это такое?

– Понял, – коротко отозвался Косарев. Он похрустел душистым свежим огурцом, налил ещё рюмочку, выпил, покрутил головой, крикнул, на мгновение задумался. – Вот теперь хватит... Главное ведь, Николай... Васильевич, знать, когда хватит. Во всем. Даже в вопросах

и ответах... А таким вот образом мне этот вопросец никто не предлагал. Я и отвечу, как не отвечал никому. Только ты это самое – принимай не как официальную установку, а как личное домашнее мнение... Ну а домашнее мнение в личное дело сейчас не подшивают... – Нет, Косарев откровенничать не спешил, он, может, даже в сомнении раздумывал, а пускаться ли вообще в откровенность, выставлять ли домашнее мнение: ведь то, что и личное мнение в личное дело пристегивают, – это он прекрасно знал. Однако знал Косарев и другое: никто никогда ни за язык, ни за руку его не схватит. А если так, то почему бы и не высказаться? Была в нем и такая потребность – высказаться, выставить, как визитку, личное мнение – это даже отдушина, порой ведь и дышать становится трудно, а так, глядишь, и вздохнешь, и зауважаешь сам себя: взял вот и сказал откровенно – иному до такого откровения и за всю жизнь не дойти, да, так таки всю жизнь, а он – пожалуйста... Косарев тщательно размял сигарету, тщательно прикурил, откинулся на спинку кресла, пробежался языком по гладким, сплошным зубам и прикрыл глаза: – Это, знаешь ли, Раков, и не бесхозяйственность, как некоторые полагают, не безысходность и не лично злой чей-то умысел – так тоже некоторые полагают – это долгосрочная сельскохозяйственная программа, или долгосрочное мероприятие, или нескончаемая политика в области сельского хозяйства. Чем хуже, тем лучше, пока не станет хорошо... Коллективизация, укрупнения, разукрупнения, сселение, расселение, перспективные, неперспективные, запустения, подъемы, спады – и так далее... Всё это лишь для того, чтобы полностью искоренить частный сектор, сделать из крестьянства сельскохозяйственный пролетариат, то есть рабочий класс, то есть работников-производителей... По-моему, всё в этом – и бултыхаться нечего, ни вверх не ныряй, ни вниз. Да и нельзя нам есть досыта – мы ведь аскеты! – Косарев засмеялся. – Ну и как – понятно выражаюсь?

– Понятно, что же не понять... Только так ли уж всё и долгосрочно продумано. Может, вали кулем – после разберем?... А вот если жрать нечего будет, тогда как с долгосрочной программой?

– Раньше за вожжишки надо было подёргать, а теперь кнопочное управление... Лет на десять с отклонением и пойдём – и все?

– И все это ради...

– Вот об этом не надо, вот это уже пришивается. – Косарев поморщился. – Ради человека, ради свободного идейного человека, вот ради него. – Косарев кивнул на дверь, которую таранил Шитиков с закоптелым полуведерным казаном в руках – так и парила духмяная ушица.

Значит, приехал Сам.

3

«Москвич» по просеке катился настойчиво и вертко – вперед, вперед! Но не по размеру здешней колеи, выбитой «Волгами», был развал колес. И теперь левая сторона прыгала по кочкам. Но скорость была, и Ада оставалась предельно собранной. И хотя она непрофессионально налегала на руль и чуточку горбилась, все же выглядела изящно.

Алексей украдкой, чтобы не спугнуть позу, любовался Адой. Нет, не ошибся он в жене: выждал – и не ошибся. Кое-кто из приятелей тогда морщились: вот, мол, нашел клад – с ребёнком да ещё и старше. Зато сам он ни на минуту не сомневался – это она, это та самая, которая не позволит задремать... А то, что был муж-тюфяк, так ведь развелась – это даже хорошо, крепче держаться будет. А дочка – слава Богу, пеленками в квартире не воняло, не занимался прогулками и тасканием в ясли – ей теперь уже полных двенадцать лет, годика через три-четыре можно и удочерить... И как это тогда угораздило хитроумного Лазаря! Читал он в ВПШ курс редактирования – поначалу и как преподаватель не нравился, какая-то жвачка. Позднее понял – завидовал... Стилист-то Шершин великолепный, кажется, такого ещё и не встречал. А внешне плюгавенький, с отвислым крючковатым носом и вечным насморком. Зато уж людей

определял по первому взгляду: посмотрит – и скажет. Глазом не моргнул, не удивился, когда узнал о параллельной учебе Алексея в юридическом институте. Как будто так и должно. Шмыгнул носом и сказал: «Можно бы и в университет, там и связи есть, и солиднее».

Постоял, пошурился, попыхал неумело сигареткой и говорит:

– У моей, Алеша, приятельницы, – и тотчас манекенно вздернул головку и выставил вверх указательный палец – оговорился: – Я, заметь, женат – и жене своей года три уже не изменяю. Адочка только-только развелась со своим тюфяком. Так вот у нашей Ады сегодня какой-то прием, и я, естественно, зван. Надеюсь, и ты свободен на вечер?..

И пошли. И точно тянул за собой Шершин осла на веревке – куда?! В универмаг, затем в цветочный магазин, да так пешком и дошли до квартиры – благо что не в Канавино пришлось идти. Плелся Алексей понуро, не выпуская изо рта сигарету. Ему так и представлялась вот такая же, как Лазарь, плюгавенькая бабенка лет за сорок с красным непросыхающим носом. Когда же вошли в прихожую и Лазарь, прикладываясь, как к иконе, пропел: «А вот и наша Адочка...» – Алексея точно по голове стукнули: так и стоял офонаревши, с подарками в руках. Наконец очнулся, и чтобы хоть как-то избавиться от смущения, он полудурашливо хмыкнул и сказал:

– Эх, ё-моё, куда это меня привели? Я ведь, чего доброго, и не захочу уходить отсюда..

Засмеялись. И Лазарь все так же пропел:

– А это мы ещё посмотрим!.. Может, и сами не выпустим отсюда.

И не выпустили...

Наконец «Москвич» ухнулся в обочину и с разворотом выскочил на проселочную грейдерную дорогу.

Алексей засмеялся:

– Ну, мать, ты и лихач! – Он обхватил Аду за плечи, в тот же момент «Москвич» точно клюнул носом в землю – остановился. – Эх ты, моя женушка! Вперед – без страха и упрека! Да тебе давно уже на день рождения машину надо бы подарить! – И Алексей страстно начал целовать жену в ее раскрытые влажные губы. Наконец она ладошкой похлопала его по спине: постой, отвались.

– Не надо меня соблазнять, Алекс... ты это лучше сделаешь дома. А теперь вперед, действительно – вперед.

И новая волна восторга: вот это жена – ничего не скажешь!

Алексей легко представлял, как позвонили из обкома партии, с каким достоинством по телефону говорила Ада и с каким напором затем она ринулась в редакцию, чтобы бесцеремонно ввалиться в чужую машину – и гнать, гнать на озеро с тем, чтобы без проволочек привезти мужа домой и уже самым связаться с орготделом обкома партии.

И Ада тысячу раз права: вперед!..

Ведь и тогда, когда ещё и дипломы ВПШ не выдали, но неожиданно вдруг свалилось на голову распределение, выяснилось, что из Городецкого райкома партии имеется заявка-запрос на него – и не открутиться, нет оснований – и, стало быть, возвращаться замом в районку, к своему несостоявшемуся тестю, Алексея точно одурманило, парализовало, он растерялся на какое-то время, не мог принять никакого решения. И тогда в действие включилась Ада. И уже вечером связующий, всё тот же Лазарь, позвонил по телефону:

– Ребята, всё будет о'кей, но для начала надо сделать так, чтобы само собой отпало обязательное распределение.

И Ада организовала регистрацию брака в загсе – скрутила в два дня. В итоге – по настоящему совету – секретарь райкома комсомола...

До озера и обратно Ада управилась за полтора часа. Высадив мужа возле подъезда, она погнала взмыленного «москвичишку» к редакции.

4

Как обычно в решительные минуты, в голове не было никакого мусора, в сердце никакого волнения, мысли работали четко. В прихожей он аккуратно повесил пиджак, в ванной умылся, причесался, прошел в свою комнату и осторожно сел на простенькое креслице, к простенькому однотоумбовому столу, на мгновение задумался, неторопливо закурил – и сковавшее было напряжение тотчас ушло,

«Итак, не дергаться и не суетиться. Ещё раз надо бы прослушать телефонный разговор. Главное – все понять», – мысленно предписал Алексей.

Он взял со стола районную газетенку. На второй полосе был и его подвальчик. Вот уж что оказалось важным и необходимым в новой деловой жизни – умение писать в газету.

Ни один секретарь райкома комсомола во всей области не писал столько в районную и областную газеты, сколько писал Алексей. Писал без нажима со стороны, писал сам, причем заранее уведомляя редактора о теме и объеме статьи. Писал о работе райкома комсомола, о работе секретарей низовых организаций, о работе комсомольских групп, о стенной печати и комсомольском прожекторе, о субботниках и воскресниках, о роли молодежи в деле подъема сельского хозяйства – писал обо всём, занимался суровой критикой и самокритикой и в конце концов взялся за статьи методического характера – по программе комсомольской партийной учебы под рубрику «В помощь пропагандисту», он даже отвечал через газету на письма молодёжи в райком... И уже на втором году такой работы покати́лся с горы снежный ком. На районной партконференции секретарь райкома партии первым указал на образцовую работу секретаря райкома комсомола в деле пропаганды. Затем на совещании секретарей в обкоме комсомола Алексея поставили в пример, рекомендовав широко использовать опыт его пропагандистской работы. На заседании пленума обкома комсомола Алексей выступил с докладом о роли печати в деле партийного политического просвещения. Он так и начал свой доклад: «Печать – это одна из важнейших составных частей партийной работы на любом уровне. Если партработник не использует или не может, то есть не способен использовать печать как партийную трибуну – это уже не партийный работник и активист, а партийный чиновник, а то и попросту бюрократ...»

И наконец – и это главное – Алексея отметили на пленуме обкома партии, вскользь, в докладе, лишь упомянули, но отметили. Алексей и сам не ожидал подобного, не предполагал, что именно печать на какой-то период и определит его будущее...

Алексей вздрогнул – он так и не прочел в газете ни строки, – стукнула входная дверь, стремительно вошла Ада. Она резко остановилась и настороженно спросила:

– Ну и как?

– Никак, – спокойно ответил Алексей.

– Зачем звонили, спрашиваю.

– Вот этого я и не знаю.

– Ты – не звонил?

– И до трубки не дотрагивался. – Алексей усмехнулся, и это, видимо, возмутило её.

– Ты что Ваньку валяешь?! Не устраивай балаган!.. – И это на вибрирующей высокой ноте, так что Алексей даже брови вскинул от недоумения.

– Нервы надо беречь, Ада Аркадьевна. Нервы, говорят, не восстанавливаются... Ты знаешь, матриархата в моей семье не будет, – проговорил Алексей без нажима и поднялся на ноги: чистый, ухоженный, ладно и крепко сколоченный, с высоким челом, на четверть черепа уже облысевший, с проседью на висках – весь он излучал такой мощный поток энергии, воли, решительности и нерастраченного ума, что Ада за без малого пять лет совместной жизни впервые вот так до лягушачьего трепета оробела перед мужем. Это ведь такая носорожья брони-

рованность, такой напор: двинется – и раздавит. И она ощутила себя настолько рахитически слабой, беспомощной и беззащитной, что слезы сами собой потекли из глаз. Она бросилась к Алексею со словами:

– Прости меня, прости, – и припала к его груди.

Он же взял ее за плечи, посадил на стул и строго сказал:

– Попытайся восстановить дословно телефонный разговор, дословно.

И Ада оценила его выдержку: о, как она его в этот миг ценила! Ада всю жизнь, впрочем, как и её родители, и её приятельское окружение, обожала деловых, энергичных мужчин. Сильному и властному она готова и обязана была покорно служить до скончания дней своих, лишь бы он оставался на поводке.

Казалось, любого мужчину, как тореадор быка, Ада была способна раздраконить, так что он, слепо выставив рога, пер бы напролом, но не куда угодно, а на указанную цель или уж по крайней мере по указанному направлению, и цель эту, и направление это Ада отлично знала, а если бы и забыла, то ей скоро напомнили бы об этом... Алексей, хотя и настойчивый, но близорукий, казалось, в любую минуту готовый смириться – и успокоиться или выставить рог – и тогда уж вслепую. И вот такая возможная неуправляемость нередко пугала её.

Ещё раз выслушав жену, Алексей спокойно снял трубку и попросил соединить с орготделом обкома партии.

– А теперь, Ада Аркадьевна, идите к себе – разговор не для женщин, – сказал он жене, и жена безоговорочно подчинилась – вышла, плотно прикрыв за собой дверь.

Забравшись с ногами на диван, Ада то хмурилась, то кривила в недоумении губы, пытаясь понять, а почему это она так умалилась. Да и ей ли робеть перед ним! А вот поди ж ты – оробела.

Ада ждала. Нет, она не прикладывала ухо к двери, но была настолько напряжена, что, казалось, слышала не только разговор за двумя дверями, но осязала и горячее дыхание мужа.

Наконец послышались шаги и в комнату вошел Алексей: и по его восторженно-алчному взгляду, и по надменному излому рта можно было понять всё. Ада и поняла, и только теперь действительно расслабилась. А он развел свои сильные руки и тихонько воскликнул:

– Ада! А ведь пора собирать вещи!

И оба, окинув взглядом полупустую комнату, невольно засмеялись. Ведь они так и настраивались – временно, на пятерку, с возвратом. Тогда же и решили: лишним не обзаводиться – как на вокзале, – чтобы не привязаться, чтобы помнить – временно... А если временно, то зачем, с какой целью? И определилась сама собою цель: окончить институт – и сделать карьеру. А в чем выразится карьера – это уже дело практики.

И все-таки, возможно, так и приработался бы к райкомам, если бы не коррекция, проводимая неведомой сильной рукой. Это ведь только в сказке так бывает: месяц назад получил второй диплом, а уже теперь приглашают в обком партии на собеседование – к секретарю по идеологии.

Только вот лет-то, лет – любая половина прожита!.. Правда, секретарь райкома партии рассудил иначе: «Надо же, а молодой. Значит, зеленый свет. Это и хорошо: пока молодой – и работа в радость».

5

А денечки бежали. И хотя вопрос, казалось, был решён, стоять на старте и после команды «внимание» ждать неопределенного «марш» – занятие не из лучших. Ни Алексей, ни Ада даже виду не показывали, что нервничают, волнуются, переживают. Только и всего, что зачастила Ада в Горький: вдруг забеспокоилась о своей квартире...

И все-таки в душе Алексея что-то сдвинулось: он как будто почувствовал свой возраст. Нельзя было оставлять мужа в одиночестве, но даже столь опытная женщина допустила промашку. Хотя какое уж там одиночество – два-три дня! И все-таки одиночество. Посмотрел в спину жены и её дочери – вот уже и одиночество, вот уже и червь в голову полез. Эх, времечко-то пролетело! Девчонка вытянулась до уха матери. А всего-то в шестой класс пойдет. Ничего себе – всего-то... И почему своего-то ребенка нет? (Задал вопрос и поморщился: есть, должно быть, у Зойки.) Господи, возраст-то что ни на есть самый зрелый и критический. Теперь уж только к пятидесяти годам можно занять своего Ванюшку....

Увиливает. Или надеется, что крепко за жабры взяла?... И для чего тогда пыжиться? Просто жить можно и при райкоме партии. А что, может, и лучше бы остаться здесь – в районе... Нарожать детей, отгрохать дачу в Перелетихе... Вот ведь куда понесло. Сгинь, дух сомнения!.. И в момент провернулась жизнь от обозримого прошлого до настоящего, не только своя личная жизнь, а и жизнь вот этого края, отчего края, с которым скоро предстояло расстаться, и бог весть, возможно, навсегда. Промелькнули в памяти мать, отец – живые, многострадальные, – вспомнилась Перелетиха со школой под горушкой и сегодняшняя, неперспективная, где, наверно, будет в одиночестве стареть младшая сестра... Что-то вот и сдвинулось в душе, как будто проснулась тоска по детству. Только уж какая тоска, какое детство – не было детства, может, потому и тоска.

* * *

Пришел Борис. Держался он, как обычно, застенчиво, но как только узнал, что ни Ады, ни дочери дома нет – уехали, так враз и оживился, осмелел, заговорил во весь голос:

– Ну, голова, и молчит, так бы и говорил, что один, а то молчит!

– Что же мне? Ты на порог, а я петухом на весь дом: один я, один – доставай бутылку! Так ли?

Борис ухмыльнулся:

– А ты, Петрович, откуда знаешь, что у меня бутылка?

– Что тут знать, великая тайна! Могу сказать, какая бутылка – «Золотая осень»... Морды поразбивать за такую «осень»! Травят людей...

– Ну и смешной же ты! Или я травлю? Сам ты и травишь, сам же и ругаешься. А ежели мужики не пили бы, так ваша мощна давно опустела бы.

– Оставь болтовню – опустела бы! Доходная статья, но не основная же. И что за манера – и пошел поливать! А сам ведь и в экономике не петришь.

– Я-то петрю, и ты петришь. Только тебе язычок-то на замочке велено держать... Вот и вся экономия, – Борис выставил на стол бутылку водки, причем вытянул ее откуда-то из-за пояса, – на ней всё и держится, от неё и погибнем. А то там не петришь, а мне и не надо петрить, хотя и не дурней телёнка.

Алексей в ответ лишь безнадежно махнул рукой. Что, мол, тебе и втолковывать. Но это был только жест, в душе своей он изумился: «Вот тебе и мужик! Влепил по ноздрям – и не дыши. Люди всё знают. Возле чапков и философствуют, и постигают политграмоту».

Совсем недавно и сам Алексей сделал для себя головокружительное открытие: спирт – основная статья дохода в государственном бюджете. Алексей буквально ужаснулся такому открытию: какое противоречие! Но он боялся даже подумать: какая ложь!..

– Видишь, не угадал – водка, не золотуха.

– Во вкусходишь.

– Вошел. – Борис поднялся к холодильнику за закуской.

Алексей с удивлением следил за ним. Борис без смущения распорядился рюмками, закуской, и когда повернулся к столу, Алексея покорило: алкаш, законченный алкаш. Вызыва-

ющая дерзость, бесцеремонность и нахальство: с одной стороны, утрата совести, с другой – форма самообороны.

– Ну, что ты на меня так смотришь? Али не узнаешь? – Борис так и напустил на глаза хмарь.

– Тебя что, тошнит? Иди в туалет, – с ядовитой усмешкой ответил Алексей.

– Тошнит, тошнит, уже вытошнило, – смутившись, проворчал Борис. – Я к тебе, брат, по делу пришёл.

– Понятно. Без дела ко мне родственники не приходят.

– Экий ты мужик – зубастый... И сам ты занятой, и жинка у тебя... такая – вот зазря к вам и не шастаем, – ответил Борис, хотя сказать-то ему хотелось другое и не так, да воздержался – и правильно сделал.

– Ладно, не на суде, – довольный эффектом своих слов, подбодрил Алексей. – Наливай, я с тобой тоже рюмашечку выпью.

– Это дельно, это дельно! – Борис так и взбодрился. – А то ведь когда один пьешь, навроде как аликом себя чувствуешь...

Уже минул год, как Сиротины продали в Курбатихе свой «холодный» дом и перебрались в город. Все складывалось так, как и предопределял Алексей. Правда, слишком уж дорого, по мнению Бориса и Веры, обошлась им городская хибарка, но они мгновенно успокоились, как только Алексей растолковал им, сколько стоит в городе хотя бы однокомнатная квартира, понятно, кооперативная. Да и то верно, приложить бы руки к этой развалюхе, глядишь, домишко и заиграл бы, но ни о каком ремонте и думать не приходилось, лишь бы на голову не текло.

Поначалу и Борис, и Вера вместе работали на заводе. Вера до сих пор так и сидела на испытании автосигналов и уходить никуда не собиралась, хотя от шума постоянно болела голова. А Борис уже через два месяца уволился – рабочим в продовольственный магазин, где и началась его новая «линька».

Петька с Федькой кое-как окончили среднюю школу, даже не представляя, зачем они её окончили. Второй месяц работали с матерью на заводе, но работали так – отрабатывали.

А Ванюшка жил в Перелетихе.

Для Веры и Бориса удивительным представилось лишь то, что сам-то переезд оказался нетрудным – куда как труднее было в Курбатихе без конца решать: ехать, не ехать?..

– Я ведь зачем к тебе, – наконец доверительно заговорил Борис. – Ты ведь в этом деле, в законах-то, волокёшь...

– Волоку, волоку, пять с половиной лет учился... Говори, пока голова-то варит.

– Мои-то, значит, большаки в армию уходят, в военкомат вызывали – жди повестки. А нас, может, в этом году или в том выселят. Вот ты мне и подскажи: будем мы иметь право требовать и на солдат комнату, чтобы получить, значит, трехкомнатную квартиру. Нас пять душ, а из армии придут – женихи. Это одно, а другое: как бы кроме квартиры за дом с государства ещё слупить бы деньги – это очень даже положено. – И Борис испытующе прищурился.

«Вот оно что, – с горькой иронией подумал Алексей. – Чуть только выползли, так сразу и права качать – урвать, сорвать, не выпустить. Как будто особые права получили».

– Д-аа, – вслух продолжил он, – ты с ходу быка за рога...

– Эка! – Борис от изумления даже руки от стола вскинул. – Петрович, а как же? Куй железо, пока не остыло!

– Ну-ну... Служащие в Советской армии при получении жилплощади имеют равные на жилплощадь права, предусмотренные общим законом... Денежные компенсации при предоставлении государственной квартиры не предусматриваются. Было одно время и так – и квартиру получил, и деньги. Сейчас это не проходит.

– Жаль, – Борис даже крикнул, даже головой тряхнул, досадуя, – а я-то мнил и квартирку получить трехкомнатную, и денег хотя бы тыщонку.

И Алексея взорвало:

– Ну, мать же твою за ногу! И куда гнешь, деревня стоеросовая! Не успел выбратся – уже выгоду подавай! Деньги и квартирку, будьте любезны, трехкомнатную! Дети ещё и в армию не ушли, а ты их уже и женихами встречаешь, Ванька в деревне живет – двое вас! А однокомнатную не хотите? Совесть надо иметь – трехкомнатную! Я не в магазине рабочим работаю, а секретарем райкома комсомола, имеем три диплома на троих, а живем, как видишь, в двухкомнатной. И думки уже нет, что лучшее-то заслужить, заработать надо, хотя бы и на заводе. А ведь удрал, удрал с завода... – И Алексей вдруг осекся, не потому, что наговорил много обидного, глянул мельком на Бориса и прочел на его лице такое безразличие, такое невосприятие всего, что невольно подумал: да он и не слушает, сидит и ждет, когда я кончу лупить в барабан... Лишь на мгновение замолчал Алексей, замер, но уже тотчас раскатисто засмеялся: – Вот так тебе и скажут в райисполкоме – и пойдешь несолоно хлебавши!.. А я тебе и вовсе одно скажу: всегда знай меру.

Борис молча продолжал катать в пальцах шарик из хлебных крошек. Действительно, в нем даже досада не шелохнулась. За этот короткий год Борис чудодейственным образом вобрал в себя так называемый бытовой рационализм. Он хорошо освоил, что сегодня ни в чем никому не надо перечить, но и ни на шаг не отступать от своего и чтобы закон был на твоей стороне или уж хотя бы зацепка за законность... Теперь он убедился, что имеет право на трехкомнатную квартиру, а получит ее или нет – дело следующее. А то, что Алексей молотит, так ведь помолотит – и кончит.

– Ну, что молчишь?

Борис поднял на него невыразительный взгляд и, оттопырив манерно нижнюю губу, пробормотал:

– А что там и долго говорить, не пора ли повторить?

И повторили...

И случилось удивительное превращение: Алексей вдруг и как никогда естественно переключился на игру. Лишь вскользь он подумал: «А ведь на партийной работе – там! – придется иметь дело со всякими людьми. И не отмахнешься: и вопрос реши, и мнение о себе хорошее оставь» – вот так только и подумал – и переключился. Играть-то он умел и раньше, и неплохо, но вот эта игра – была уже выше порядком, когда человек как бы переступает в иной мир, где безоговорочно цель оправдывает любые средства и даже живые люди становятся средством – всепоглощающая виртуальность. Подобные превращения доступны и понятны ещё писателям и актерам – одни воссоздают за письменным столом целый мир и порой сами уже не в состоянии отслоить реально происходившее от вымысла, вторые входят в роль настолько, что, случается, трагически умирают на сцене вместе со своим героем.

Алексей сосредоточенно хмурился, кивал, поддакивал и в то же время даже не сознанием, а неведомым доселе чувством понимал, что никогда ничего не сделает этому человеку ради справедливой помощи, хотя ни в чем и не откажет. И даже когда Борис сказал:

– Деньжат надо бы сот пять сынов в армию проводить, да вот ещё на аванец – записались в очередь на стенку для новой квартиры... – Даже тогда Алексей понимающе кивал: да, да, все надо.

– А нам не до стенок, не до ковров. Живем, видишь, как на вокзале. Холодильник да телевизор – и всё, даже лишней чашки-плошки нет. – И доверительно положил руку на плечо Бориса.

Прищурил глаза и беззвучно засмеялся Борис:

– Ты, Петрович, жив не тем. Что тебе стенка, когда твоя думка далеко плутает. Стенка – как верига на ногах, далеко ли утопаешь! Ты тепереча лет до полста не угнездишься, так и

будет – холодильник да телевизор... А нам с Верухой квартиру, стенку, да и самих к стенке. Только вот квартиру скорее бы, в домишке чтой-то холодно. В Курбатихе холодно, а здесь и того холодней... как в чистом поле на песках. А как же без тепла да в чистом поле... Может, для сугреву из холодильника, пока бабы-то нет, а ты дома. А то ведь всё как чужие – и не посидим, не покалякаем, не пожалимся друг другу...

И затмило. Алексей не смог бы сказать, долго ли продолжалось это затмение. Он вдруг ясно почувствовал: кто-то поддерживает его под локоть, помогает идти – в этот момент как будто и прояснилось. Алексей отдернул руку, точно возмутился: простите, я и сам пока в состоянии ходить. Но рядом никого не было – значит, померещилось, значит, на ходу вздремнул.

В квартире всюду горел свет. Алексей шел из своей комнаты с бутылкой коньяку, которую и нес-то плашмя в обеих руках. Через открытую дверь и коридор было видно, как Борис, прильнув к столу щекой, спит на кухне, слышалось похрапывание... «Не он же под руку поддерживал», – мелькнула осмысленная догадка, и Алексей вторично оглянулся – никого.

...Хотелось почему-то не просто выпить-похмелиться, хотелось напиться до беспамятства, до свинства, как никогда – в стельку, в лоскут, в доску, в гробину. Но не будить же этого хмыря, чтобы вливать ему в горло двадцатирублевый коньяк. И Алексей повернулся назад в комнату. В тот же момент кто-то обнял его за плечи, легонько притиснул, дохнув утробным жаром в щеку. Алексей дернулся и выругался вслух:

– Тьфу, черт возьми!

– Зачем же так грубо, Алексей Петрович? – прозвучал голос трезво, бодро, и уничижительная усмешка брызнула из этого голоса. Алексей настороженно повел взглядом: за письменным столом, в его креслице сидел мужчина, одетый в его новый, ненадеванный костюм, купленный всего-то неделю назад, чтобы не ударить в грязь лицом – там.

«Жулик, ляпнул костюм, – мелькнула догадка, но тотчас же и отпала: – Жулик за столом?»

Алексей хотел обратиться к гостю с ледяной вежливостью – так, чтобы враз и обезоружить этого нахала. Но на руках, как ребенок, лежала бутылка – и это смутило, И все же он откашлялся, однако сказал буквально против своей воли:

– Ну что ты, пёс, лыбишься? Влез в чужой костюм и лыбишься!

Невероятно, почти чудовищно – что за голос, что за язык! Алексей растерянно зыркнул по сторонам, а гость, похоже, в усмешке отвернулся к столу.

– Во-первых, я не пёс, Алексей Петрович. Пора бы и забыть сермяжную феню. А во-вторых, давайте сюда, давайте коньячок. И посидим, и покумекаем: ведь как-никак, а ждете приглашение ко двору.

В животном страхе Алексей подумал: «Да ведь это же мужик, видать, из обкома, приехал по делу, а я тут в дупель, да ещё и рычу. – Но уже тотчас и возмутился. – Да и хрен с ним, что из обкома, я – дома».

– Я говорю, а хрена тебе вместо коньяку не подать из холодильника – имеется! – И на сей раз Алексей не узнал себя: голос не свой, развязность не своя – и слова-то, как из выгребной ямы.

– Ты что, сударь, или спятил? – грозно разворачиваясь, проговорил гость. – Я ведь, смотри, сейчас же одну свинцовую в лоб зафинтилю – и язык закусишь. К тебе не грузчик магазинный пришел...

Алексей содрогнулся. «Встать в строй!» – прозвучала команда. И косясь на гостя, отмечая играющий желвак на скуле и шишковатый с залысиной лоб, стараясь не качаться, Алексей тихонько поставил коньяк на стол и сам, как бедный родственник, присоседился на краешке стула.

Но в горле-то у Алексея так и трепетало живое, холодное, отрезвляющее слово, и оно, это слово, уже оформлялось и отливалось в свинец – тоже ведь в лоб зафинтилить можно. Экая зараза, пришел...

– Вот и прикинем, как будет и что будет – ну, лет на пять, до сорока твоих, – переливаясь то ли в улыбке, то ли в двойном освещении, заговорил гость. – Ты хоть понимаешь, какая возможность перед тобой открывается? Какая перспектива... Хотя ты пока ещё телок, ты даже вкуса этой перспективы не знаешь. Но – познаешь. Только за все надо платить, и ты должен знать, какой валютой...

Насупившись, Алексей молчал. Как вода в сосуде, колыхалось в нем сознание – и единственное, что силился понять он: кто такой? – но понять не мог... И, видимо, из раздражения на то, что сам он опустошен, как футляр без инструмента, что даже понять не в состоянии, кто этот человек, и в то же время понимая, что происходит что-то важное и это важное не зависит от него, он опять-таки посторонним голосом, с раздражением сказал:

– Кто продаётся – я или ты?

– На взаимной выгоде, – не совсем понятно ответил гость.

Переспрашивать, уяснять Алексей не решился. Чувствуя, как всё в нем кипит от возмущения, готовый с удовольствием шарахнуть бутылкой по балде этого с иголки хлюста, Алексей нетерпеливо закурил и, хищно растягивая рот, сказал:

– Я ведь много хочу, тебе и не снилось, как много – очень много.

Гость весело с подголоском засмеялся, в восторге даже руку вскинул:

– Это и хорошо – блестяще!.. И как только ты все поймешь, так я и включу – зеленый свет... И перелицуем принцип: каждому по его способностям!..

И далее гость повел мирную речь, перемежая ее сигаретками и коньячком. Нет, в его словах не было никакой тайны, никакого заговора, да и говорил он о простых и понятных вещах, однако в какой-то момент своим нетрезвым умом Алексей вдруг очень трезво понял, что он уже сдался, уже подчинился, уже согласился на всё и что он уже в такой зависимости, в такой отчаянной безвыходности, что никто ему не поможет, никто не спасет. И только теперь он почувствовал, как всё внутри дрожит от недоумения и страха перед непонятной сделкой... И так-то вдруг стало жаль себя, сделалось тоскливо до тошноты, захотелось уйти, убежать, спрятаться в какую-нибудь западню или щелочку, сжавшись до подходящих размеров.

Как под снайперским прицелом, Алексей поднялся, на всё на свете махнув рукой – стреляйте: умышленно покачнулся, сбился с шага – и пошел, пошел, и уже казалось, что даже в коридоре спасение, а уж если в ванной да замкнуться, то и вообще – бункер, крепость... И тишина окружала, и не хотелось верить, что за спиной следит он, что стоит лишь оглянуться – и уже никакая крепость, никакая стена не спасут. И Алексей не оглянулся: он вышел в коридор – дверь в ванную открыта, и там тоже горел свет.

Щелкнула задвижка.

Теперь хотелось одного: протрезвиться, очиститься – и тогда, грезилось, все восстановится и никакие нахалы уже не смутят. Алексей ополоснул лицо холодной водой, затем в стакан налил воды, из настенного ящика-аптечки достал нашатырный спирт, накапал в воду и придерживая левой рукой горло, чтобы умерить тошноту, начал пить из стакана маленькими глотками.

Четверть часа спустя из ванной вышел гладко причесанный Алексей. Хотя внутреннее состояние его и было подавленное, шел он уверенно с твердым намерением дать бой этому наглому торгашу.

«Нет, мил-друг, меня Хаймовичем не удивишь!» – подбодрил себя Алексей, небрежно толкнул в комнату дверь – и остолбенел.

В рабочем креслице за столом сидел Борис: не первой свежести, но вполне вменяемый, он улыбался навстречу, щуря один глаз и как бы говоря: «А я ничего, проспался – могу и продолжить».

– Где он? – бледнея, спросил Алексей.

Глава вторая

1

Тридцать годков без одной зимы минуло с тех пор, как пришла похоронка на Петра Струнина. Тридцать лет – и ни единого праздника, только и есть что свечечка в угасающем сознании Лизаветы... Без одной зимы десять годков, как упокоилась Лизавета. И дети взрослые: старшей, Анне, за сорок, младшей, Нине, за тридцать. Это ли не сроки!.. А уж для Перелетихи горемычные тридцать лет – хуже Мамаевых. И дышит облысевший взгорок безголосым, неживым покоем, точно не след от деревни, а от погоста след – памятно зеленеют в рядок уцелевшие березки да рябины, когда-то посаженные под окнами, да только выросшие к изголовью.

И укрылась плотной дерниной земля, не та – картофельная, картофельные усады распахали сплошняком и уже обезличили, а земля огородная, на которой с незапамятных времен выращивали лучок-чесночок. Отдыхает кормилица, ждет своего часа смутой выморочная земля.

А вот дом Петра Струнина пережил все сроки. Подгнивали нижние венцы, разрушались углы, и дом уже много лет оседал, а в последний год завалилась переводина, и повисли, захлебали половицы – это конец... Долго думала, долго гадала в своем одиночестве Нина, и минувшим летом надумала – подрубить, поднять родительский дом. Все свои копейки собрала – мало, взяла ссуду – хватило.

С неожиданной охотой согласились подрубить дом перелетихинские мужики, правда, теперь – курбатовские, теперь – старики, и стариков-то – двое. Возглавил артель Чачин. Казалось бы, от бывшего Чачина уже ничего и не осталось, а взялся! Ну а где Чачин, там и Бачин. Всего же их набралось шестеро. Что и не постучать топором, что не подсобить друг другу – пенсионеры, своя воля.

Весь лето они возились с домом, изо дня в день – без выходных. Работали по-стариковски: не торопко, но споро и ладно. Вроде бы и разворачиваются-кряхтят, а по венцу к вечеру и обтесали, и обстрогали, а на другой день и пазы выбрали, и в обвязку на шканты положили. Да так вот оно и шло – не напором, не штурмом, а напористым прилежанием, терпением да трудом. И новый венец дополнительно прирубили, и фундамент подвели, правда, пришлось помоложе мужиков призвать. Дом подняли, так и мост с крыльцом поднимать надо, стало быть, обновлять. И что уж особо дельно, все порушенную временем резьбу на окнах и фронтоне восстановили. Явись теперь Петр Струнин, уж он-то свой дом узнал бы: от какого ушел, к такому и пришел бы.

И мужики-то распалились: и что за дочь у Петрухи, не покидает родительский дом! Уважим ей, парнишки, помянем Петра, авось и Перелетиха ещё поживет.

И Нина, глядя на стариков, радовалась и плакала от горечи беспамятной. Двадцать восьмого августа и сбегала в Никольское, поставила свечечки, подала записки о здравии и об упокоении, просфоры взяла – и за отца Петра Алексеевича, которого и во сне ни разу не видела, за мать, и за мужиков-односельчан, сверстников отцовых.

А когда закруглились мужики, пошабашили, то устроила им хозяйшкa обед знатный.

Весь стол уже был заставлен тарелками и блюдами с жареным, пареным и холодным, а Нина все возилась у печи – готовила. Мужики отдыхали здесь же, разместившись кто на чем поодаль от стола.

Нинушка уже хотела ополоснуть руки, чтобы и пригласить к столу, когда Чачин, опередив, поднялся со стула и валко подошел к печи. Он положил свою крепкую руку на притолоку дверного проема, как бы пробуя, а ладно ли сделана отгородка, слегка потряхнул ее рукой и, подетски смущенно улыбнувшись, спросил:

– Нет ли дочка, у тебя водицы крещенской?

Нина растерялась, и в растерянности подумала: «Господи, подшутить, что ли, хотят», – и уже вздохнула, чтобы ответить: «нет», – как вздрогнула, спохватилась: «Да что я, в таком-то деле и врать!» – и ответила даже спокойно:

– Есть.

Как под конвоем прошла в боковушку, вынесла оттуда белую бутылку с винтовой пробкой.

– Вот, крещенская.

– Дай посудинку и что-нито навроде кисточки.

И только теперь Нина поняла, зачем понадобилось Чачину все это – жаром так и опажнуло лицо изнутри.

Всю жизнь, все годы, проведенные в Перелетихе, Нина видела вот этих мужиков и, думалось, знала их доподлинно. Уж что проще – Чачин да Бачин: один, казалось, только то и делал, что гоготал, охальничал да над властью потешался, а второй, напротив, со всем соглашался, всему поддакивал и вечно заседал в президиумах. И мнилось, что ничего другого в этих людях нет, да и что может быть, когда душа нараспашку – и вся она перед тобой, как разграбленная кошёлка.

Только взял Чачин большую пиалу, набулькал в нее крещенской водицы, прихватил в кузнецкие пальцы кисть особую и, вздохнув, вышел в двери. И видно было в окна, как макает он кропило в водицу и, коротко взмахивая рукой, кропит обновленные стены дома – и еле заметно беззвучно шелестят его губы.

Вошел Чачин внутрь дома. И мужики поднялись, заприглаживали ладонями волосы, а Чачин макнет кисточку да махнет – во имя Отца, макнет да махнет – и Сына, макнет да махнет – и Святого Духа...

И Ванюшка тут как тут – вынырнул из боковушки. Прошел Чачин в боковушку – и там покропил. А вышел – не узнать мужика: таким степенством и достоинством от него веяло.

Обратились мужики к красному углу.

И не видела Нина отродясь, за всю свою жизнь не видела, чтобы семь мужиков с Ванюшкой и она вот здесь, в родительском доме, одновременно лбы перекрестили. И Бачин, не чудо ли чудное – Бачин, глуховато кашлянув, степенно прочел «Отче наш...». И вздохнули мужики, на молитву притихшие. А Чачин сказал:

– Теперь и выпьем по фронтовой... вот и помянем Петруху, а заодно и Лизу горемычную.

И сели к столу, и на минуту замерли, и до звона в ушах охватила тишина.

Вот и помянули.

2

Нина и сама не знала, почему именно так складывалась её личная жизнь. Поначалу было ясно, почему, скажем, осталась в Перелетихе – затосковала по самостоятельности. Какая ни родня, а всё в чужой семье. Вот и осталась. Но ведь можно было, и не раз, подняться в ту же Курбатику, а вот не поднялась. И опять же была на то причина. Жалела, Перелетиху жалела, отчий дом и Ванюшку жалела. Достаточно было пустить ей свой дом на дрова – и все, остальные

дворы рухнули бы. Старухи здесь и доживали свой век лишь потому, что Нинушка Струнина под боком – в любом деле выручит. А ещё – Ванюшка: ему здесь свобода, ему здесь раздолье, ему здесь вольница. А любовь да вольница – рай для ребенка.

А уж когда мужики дом подрубили да так отладили, что он, казалось, и плечи порасправил, и козырёк вознес горделиво, тогда даже из Курбатиhi бабы приходили поглазеть-убедиться: шутка ли – Нинушка Струнина родительский дом возвеличила! А Юлия в Курбатиhe табуретку на улицу вынесла, села – и плакала.

Не подозревая того, Нина своим капитальным ремонтом сделала вызов и партийной, и советской властям. Поняли это и Раков, и Алексей, а после популярного толкования поняла и сама Нина.

И все-таки никто поначалу не подозревал, как это много – капитально отремонтированный дом в поруганной деревне.

Те, кто продумывал и утверждал идею разрушения традиционного сельского уклада, рассуждали властно и просто. Нельзя же, как литовкой траву, смахивать целиком и враз живые деревни по той лишь причине, что, мол, неперспективные – какое наглое, кощунственное слово! Поэтому приговоренные к уничтожению деревни лишались жизненности: школы, магазина, агитпункта, электричества – и уже достаточно, чтобы люди поднялись на этап. А что старики останутся на пепелищах, так это и хорошо: видимость естественного самоуничтожения и минимум забот – сами собой лет за десять – пятнадцать и вымрут... Вот так же разрушали и разрушают церкви: всякий раз взрывать – можно прослыть и вандалами, а сорви кровлю – дожди и ветры дело завершат.

Мастера-разрушители – люди дальновидные: все по их планам свершалось и свершается – и сколько сгинуло с православной земли селений и храмов, не счесть!.. На новой карте, которая называлась «Нечерноземная зона», с паучьей улыбкой мастера ластиком стирали названия населенных пунктов и ступшевывали их след, умиляясь собственной мудрости. И конечно же, кто-то был удивлен и возмущен, когда среди запустения возобновился вдруг домишко в четыре оконца с боковым – и всего-то один, но уже такой до конца века не столкнешь под горушку.

Первым об этом заговорил Раков – специально для того он и приехал в Перелетиху.

В тот день мужики с домкратов опустили дом на новый фундамент, на два опояска свежих венцов.

Раков остановил машину напротив окон, поодаль, и, положив руки на дверцу, то ли задумчиво, то ли печально смотрел и смотрел на подновленный дом.

Мужики занимались своим делом и на председателя не обращали внимания – заняты. Видеть-то они его видели и даже косились в его сторону, но вот так, чтобы оторваться от дела и улыбаться, уставая на председателя, как на новые ворота, мужики теперь и не могли, и не хотели. В них не таилось зла, тем более на Ракова, но и сорабничества в них не было. Безразличие и равнодушие навеки залегало между людьми – вот так и материализуется лозунг «разделяй и властвуй». И Раков чувствовал это, хотя и не всё понимал, потому что был он человеком уже нового поколения, не видел и не знал вот этих мужиков двадцатипяти-тридцатилетними, когда они каждый по-своему оценили и восприняли новую жизнь именно вот здесь, в этой самой Перелетихе... Зато Раков увидел и понял другое, о чем не подозревали и не задумывались мужики:

«Вот они – вчерашняя Перелетиха, – мысленно рассудил он, – а деревня – наше сегодняшнее. Сорок пять лет спустя – итог...»

Раков крикнул, как будто ни к кому конкретно не обращаясь, точно взывая о помощи:

– Агроном!

– Щас, – точно огрызнулся Бачин и, с трудом разогнувшись и запястьем руки придерживая поясницу, скрылся во дворе.

Подошла Нина, поздоровалась.

– Здравствуй, – коротко вскинув взгляд, ответил Раков. – Решилась?

– Когда-то надо, так проще,

– У тебя когда отпуск кончается?... Вышла бы дня на три – картошку-скороспелку отправить...

Она промолчала, считая, что вопрос решен – выйдет, отправит. Так и он воспринял её молчание.

– Дорого лупят? – Он кивнул в сторону дома.

– Не знаю. – Нина пожала плечами. – Не дороже, говорят, денег.

И вновь пауза – затяжная, неловкая.

– Ты что, только за этим?

Раков засмеялся:

– Сразу и за яблочко!.. Вот, посмотреть приехал, как это на перелетихинской земле строят, авось понадобится опыт... Знаешь, у нас на складе краска есть светло-зеленая, выпишу – фронтон покрасишь, хорошо будет. А хочешь, железо есть в «Сельхозтехнике», покрой железом и под красочку.

– Нет, финансы поют романсы.

– Ещё ссуду возьми... – Он спохватился, вспомнил, хотя за этим, собственно, и приехал. – Только, знаешь, на всякий случай и в первом заявлении на ссуду надо поправить: не «на ремонт дома», а «на перевозку дома».

– Зачем, Николай Васильевич?! – искренне изумилась Нина. – На какую перевозку?

Он посмотрел на нее устало, как бы прося извинить и в то же время укоряя: такие, мол, вещи и самой пора бы понимать.

– Ну, хотела в Курбатику, раздумала – сил не хватило.

– Или спрашивают?

– Могут... Чтобы председателя сельсовета в стороне оставить. – И Раков неожиданно оживился, глаза его запоблескивали давно угасшим озорным блеском. – Знаешь, не крась зеленым фронтон, крышу зеленой, а фронтон красным, чтобы в Курбатихе видно было. – И засмеялся тихо, беспечно. – А я ведь, знаешь, решил, сейчас и решил окончательно: вон там. – И Раков указал рукой наискосок от дома, на взгорок над ключиком. – Ладно... Кстати, садись в машину, съездим к телятам, посмотрим, надо бы подумать, прикинуть – что к чему... Э, грабить – так банк! – Раков резко вскинул руку и привычно поднырнул в салон к рулю.

Нина обошла вокруг и села рядом.

* * *

Не удалось Ракову отговориться от комплекса – ни Косарев, ни тем более секретарь райкома и слушать не хотели: быть в Курбатихе образцовому комплексу – и никаких возражений... Перед Раковым разъялась пропасть. Он воочию увидел то, о чем ему не раз говорил и Будьдобрый. Но то были слова, и как слова воспринимались, и не виделось толком ничего за теми словами, а вот теперь вдруг и стало видно – пропасть.

И Раков впал в уныние. Но в уныние впал он не от осознания общего крушения – это ему ещё предстояло пережить, – а от осознания личной никчемности и незначимости. Как бы там ни было, а все эти десять лет работы в Курбатихе – и агрономом, и главным агрономом, и председателем – он постоянно сознавал не только то, что делает он необходимое доброе дело – это само собою, – но что дело это делается и по его воле и разумению. После 1965 года на всех совещаниях, конференциях и пленумах только и говорилось: вам доверено, вам и решать – что, когда, где... И Раков считал себя хозяином, плохим, но хозяином, беспомощным, но хозяином, ну, не хозяином, так управляющим, что ли. И в какой же сарказм он вошел, когда однажды в центральной газете прочел статью, в которой в каждом абзаце делались призывы

чувствовать себя хозяином земли или на земле. Раков изумлялся, ругался, восклицал: да не чувствовать надо, а быть хозяином! Он даже в райкоме начал размахивать газетой, злословить по поводу чувства хозяина, однако здесь его никто не поддержал, более того, вокруг настороженно теснилось молчаливое осуждение. А Первый между делом заметил: «Ты, Раков, думай, о чем гогочешь».

Теперь же Раков окончательно убедился, что даже он в колхозе не хозяин, что в действительности только и может быть чувство хозяина, а вся энергия, вся деятельность такого хозяина должна держаться на самообмане.

Вот это и повергло в уныние.

После же приговора по животноводческому комплексу Раков все-таки приказал себе остановиться, затормозиться, замереть, чтобы, листая книги и собственную память, спокойно подумать, взвесить, прикинуть и, посоветовавшись с верными людьми, сделать вывод – разумно это или нет? И уже через неделю он доказал себе и убедил себя, что комплексы-дворцы – очередное крушение, на этот раз – для животноводства.

В который уже раз покати́л Раков в Летнево.

Всего лишь два месяца тому, как Будьдобрый встречал снисходительной хитровой улыбкой. Именно тогда они просидели ночь напролет, выясняя, что есть неперспективная деревня. А вот теперь Будьдобрый лежал в постели и еле переваливал языком – разбило. Месяц, оказывается, как разбило, а никто и не сообщил, не оповестил, будто и вовсе никому не нужен стал этот человек, «хозяин» перелетихинского колхоза.

Он лежал в постели, враз и пообтесанный недугом. И мясистый нос точно выщелкнуло, и скулы из щек повыперло, и короткие, сплошь седые волосы поднялись дыбком. Легко было увидеть его страдания, как, впрочем, и то, что находится человек в здравом уме, только вот всего повязало и язык огруз, отяжелел.

– Отболтался, – первое, что вымолвил Будьдобрый при встрече. – Спасибо, Коля, не забыл... вот видишь, каюк, – уже несколько отрешенно говорил он.

А Раков думал: «Вот тебе и посоветовался. Да и что советовать! Самообман...»

Неожиданно Будьдобрый хмыкнул и закашлялся, видно было, как ему хотелось бы подняться и заговорить свободно, с иронией все пережившего человека. Он и заговорил, да только понять его можно было с трудом:

– Все я, Коля, закрывай выюшку. А вот лежу и думаю всё о жизни. И не пойму, или я всю жизнь кого обманывал, то ли меня всю жизнь дурили, только на обман вся жизнь и ушла. Не жизнь, а сука...

Будьдобрый устало или в забытии прикрыл глаза.

«Как жалок человек и в начале жизни, и в конце, – напряженно растягивая рот, думал Раков, – лучше уж сразу и с копыт...»

* * *

– Я не собирал правление, но со всеми специалистами поговорил. Все в один голос: содержать стадо в бетонных коробках без выпаса – это безумие, – продолжал Раков. – Мы в одной жиже навозной захлебнёмся, Имзу отравим... А строить хотят быстро, показательно, чтобы через год и запустить... Так что тянуть резину долго не удастся. Потяну до упора – и категорически откажусь.

– Снимут, в один день снимут, и билет выложишь, – без тени сомнения сказала Нина. Они стояли перед давно завалившимся коровником времен Будьдоброго. – Снимут, – вздохнув, повторила она.

– Пусть снимают, пусть убивают! Но если я не могу вот так дальше! А если через немогу, то и в Ляхово угодить можно.

– Можно, – согласилась она. – А если проще: заявление – и в райком?

– Так проще... Но я хочу воспротивиться, и ещё хочу понять – вот это что, всеобщее зачумление, помрачение, от кого идет это безумие?! У нас в колхозе сейчас стадо пятисот голов. Без новостроек ещё на двести можно увеличить. Вот здесь, в Перелетихе, ещё пять коровников восстановить да десяток домов – и вся проблема! В сто раз дешевле обойдётся – и все по-людски. А Гугино... – И рукой безнадежно махнул.

– Не знаю, Николай Васильевич... Мама, помню, рассказывала, покойный Шмаков тоже доказывал свою правду: если, мол, я дам на трудодень двести граммов ржи – эти двести граммов осенью обернутся двумя килограммами, потому что люди будут иначе работать... Не поняли, не захотели понять – замордовали... А в общем, пока суд да дело, здесь коровники и восстановить – в любом случае хорошо. Я за бригадира буду – мне все равно. А скотников на машине возить.

– Обоих снимут, – теперь уже с горькой усмешкой рассудил и Раков.

– Мне-то что! – Нина, поведя плечами, засмеялась. – Меня ведь, Николай Васильевич, снимать некуда!.. Пойду в доярки.

– А мне что – тоже в доярки идти?! – негромко выкрикнул Раков. – И я махну в агрономы! А то и вообще плюну – и уеду. – И горестно покачал головой. – Только ведь не махну, если не махнут, не уеду, если не увезут. Да и куда?.. – Передернулся, взбодрился. – Ладно. Всё. С завтрашнего дня и всю зиму бригада плотников будет работать здесь. А шабашников подряжу дом себе строить! Не то и жить негде будет.

Нина тихо засмеялась:

– Отчаянный ты человек, Николай Васильевич... Только ведь и о своих не надо забывать – а жена, а дочка?

– Вот и позабочусь – построю дом. И фронтоны красной краской вымажу, чтобы как для быка... Вот так, Нина Петровна! – Раков в неожиданном порыве тряхнул её за плечи – и в тот же момент оба вздрогнули, смутились.

Нина нахмурилась и, сказав:

– Не надо, Николай Васильевич... Я пешком – здесь рядом, – побрела к своему возобновлённому дому.

3

В другое время Алексей вознегодовал бы, но теперь, когда все так благоразумно складывалось, когда жизнь так и разливалась половодьем, очень уж не хотелось негодовать. И хотя ехал он к сестре не на блины, всё же с удовольствием. Уже одно то, что ехал он в черной «Волге» секретаря райкома, в которой и заведующие отделами не езживали, одно это придавало чести. Ярлык обкома уже висел на нем – и ярлык этот, как ханский ярлык, как жетон госбезопасности или «хвост» опричника, работал безукоризненно.

Правда, одно помрачение было. Даже и теперь Алексей не мог твердо определить: наяву случилось или во сне, гость или видение... Предположим, был пьян, но ведь не без памяти... Никто не видел, никто не знает – пьян ли, трезв ли. Был Борис, но он-то уж ничего не знает. Значит, никто, никого. А если никто и никого, то надо лишь молчать... И Алексей молчал. И ему ни о чем не напоминали. И уже казалось, что всё это нереально, наваждение, отзвук взбаламученного озера. Никто, ничего – вот и спрятался: и взятки гладки.

Словом сказки о «зеленом свете» – мистика. Алексей терпеливо ждал, ничего не предпринимая, здраво веруя, что суeta делу не помощник.

Ада курсировала взад-вперед, устраивала в Горьком квартирные и ещё какие-то дела. И казалось, ей не до мужниных тревог... Только однажды утром, как кошка шурясь в постели, она сладенько пропела:

– Алекс, а ведь я все уже закруглила, получается очень разумно...

– Вот и хорошо, что разумно. – Алексей уже вскинулся, чтобы подняться с постели, когда Ада ловко обхватила его за шею.

– А вот – я тебя и поймала...

«Ну, чертовка, а не баба!» – восхитился Алексей, грузно подминая жену...

– А ты что это, дружок, молчишь? Сейчас ведь крутом играют... и в денежки, и в людей. Смотри, упустишь «зелёный» – парторгом в «Сельхозтехнику» захотел?

Но и тогда ни слова о госте... Откуда же и у неё – «зелёный»? Впрочем, лучше и не спрашивать, а то, действительно, в «Сельхозтехнике» затормозят...

– М-да, пора бы им и честь знать, – на глазах холодея, преображаясь из мужа в делового человека, проговорил Алексей.

Ада так и выскочила из-под одеяла – и за телефон, и в постель, телефон на коленочки, и остреньким пальчиком в диск: юрк-юрк-юрк, – только и успел заметить, что нуликов много. Через минуту она искусственно улыбнулась, нет, не мужу – телефону, и всего лишь произнесла:

– Ага, – зажала ладошкой микрофон и протянула трубку. – Соглашайся, – доверительно и необратимо приказала она, – это зелёный свет, другой возможности не будет.

...Толком Алексей так и не понял, что от него требуют: короткий разговор – сплошная двусмысленность, и только одно разумно вколачивалось: подробности в процессе работы... Когда в трубке загудел отбой, Алексею вдруг захотелось хлопбыстнуть телефоном в стену – розыгрыш для потехи?! Но стоило лишь глянуть на жену, как и сам он тотчас же проникся важностью момента.

– Вот и ладушки... вот и умничка... вот так-то мы... лишь бы ввязаться...

Алексею подумалось, что жена говорит не с ним, а с кем-то посторонним и слова адресованы не ему, а кому-то постороннему. Да и сама она точно вышла из себя и удалилась, оставив в постели пустой от себя футляр, тоже, впрочем, предъявляющий свои требования и счета.

Впервые Алексей увидел жену именно в её раздвоенности, увидел за её внешней хилостью расчетливую собранность и даже суровость, и он, наверно, понял, что жену свою до сих пор не раскрыл и что она своего слова до сих пор не сказала. И Алексей на мгновение похолодел. Зато его ничуть не удивило, что уже через два дня вспыхнул зелёный свет, а через неделю на райком партии пришел официальный отзыв – для работы в аппарате обкома партии...

И после всего этого негодовать из-за пустяка?.. Да и что сестра, сестра – и есть сестра. И брат убийца, ну и что из этого?.. И смутил не ремонт дома, смутило другое – страх перед возможным.

Видимо, на запрос: «Кто позволил? Кто такая?» – последовал торопливый и трусливый ответ: никто не позволял, жила и живет – молодая баба, агроном, видать, религиозная... Понятно – секта! И в райкоме, ещё не называя имени, заговорили об агрономе, которая, мол, организовала сектантскую общину, потому и живет одна на юру. Хотя, понятно, никакого сектантства в Перелетихе не было. Но очень уж удобная форма для атеистической пропаганды и отчетности.

«Ничего, – добродушно думал Алексей, приятно покачиваясь на заднем ковровом сиденье, – никто и не пикнет, не посмеют. Это когда вниз загремишь – всё и припомнят. Самую вот только приструнить. – И тихо засмеялся: – Струнин Струнину приструнит...»

Мягко шла машина, точно легкая ладья по волнам – ныряла и вскидывала свою трепещущую грудь навстречу простору и ветру. И не брызг окающих, ни посвиста чертова в ушах – сухо и уютно в теплом салоне, и льется, чуть поуркивая, из радиоприемника музыка... Как же хорошо! Какое совершенство человеческой мысли – технический прогресс! И какая же стремительность – вперед, вперед в будущее!.. И весь мир становится вдруг ясен, потому что удивительно емко вмещается он в этот уютный салон, а если задернуть шторы на стеклах – то и вовсе блеск! Из эфира льется музыка, или диктор информирует о событиях внутри страны и

за рубежом. А можно снять телефонную трубку и включиться в деловой эфир – потребовать доклады с мест, распорядиться, приказать. И ты уже не просто в машине, не просто едешь, ты уже руководишь из летучего штаба. И особый смысл обретают, казалось бы, рядовые слова: увеличить темпы, расширить соревнование, инициатива на местах, химизация и интенсификация, сдать, завершить досрочно, углубить изучение, расшить узкие места, план – это закон, светлое будущее... И голос твой обретает иное звучание, и сам ты наполняешься иным, высшим смыслом и содержанием...

Расслабленный и очарованный собственными грезами, вяло улыбаясь, Алексей открыл глаза: слева промелькнула просека с дорогой к Дому рыбака – тряская пошла дорога. И Алексей изумился: эх, сколько же деньков пролетело с тех пор, когда Ада на «москвичишке» примчалась на озеро! Тогда было лето, сейчас – глубокая осень! И все это время в подвешенном состоянии – на мгновение взгляд Алексея посуровел, похолодел: всё могут, значит, всё в руках... И брезгливая усмешка скривила его бесформенные мягкие губы.

«Эх-ё, время-то, время!» – неожиданно ужаснулся Алексей, когда за обочиной промелькнул с трудом определяемый проселок, выводивший когда-то к перелетихинским задворкам. И вспомнил он ту далекую осень, когда умерла мать, и он, закружившись с документами, опоздал на похороны, а потом тащился с тяжелым чемоданом в руках – и где-то там в низинке за светлым березнячком встретил больного Шмакова... За все годы, казалось, не вспоминал, а вот теперь – вспомнил. Вспомнил и подумал: «Что ж, и я половил на озере рыбку... Несчастный. Только ведь все мы по-своему несчастные... Каждому своё». И неожиданно Алексей тронул за плечо шофера и сказал:

– Михайлыч, проскочим в Курбатику... на кладбище – мать у меня там.

И Михайлыч, давно привыкший повиноваться с полуслова, не повернув головы, с учтивостью кивнул – и «Волга», минуя перелетихинский поворот, как черная стрела засвистела в Курбатику.

4

С утра, часов с десяти, Нина с Ванюшкой занимались полезным трудом – пилили дрова, собственно, не дрова – гнилушки от капитального ремонта... Все хозяйственные дела они делали вдвоем, вместе, вечно как будто ссорясь и доказывая друг другу свою правду. Как-то исподволь это обрело форму ни к чему не обязываемой игры, в которой, однако, таился и определенный смысл. Надо было лишь понимать друг друга, а они понимали.

Скажем, начинала Нина мыть посуду:

– Ванюшка, иди помогать.

– А зачем?

– Чтобы посуда была чистая.

– Зачем помогать? Ты и сама сделаешь.

(Между тем Ванюшка уже стоял рядом – мыл или вытирал посуду.)

– Сделаю. Но будет мне не только тяжело, но и одиноко.

– Так ведь и мне одиноко.

– Но ты позовешь меня – я подойду.

– Значит, плохо, когда зовешь, а не отзываются?

– Так... Одиночество – это благо, но только в том случае, если это благо в любое время можно прервать.

– А как же подвижники? Они, поди, и посуду не мыли, а святые.

– Все себя обиходовали, а уж кто нет – тому, значит, много бывало дано, за того другие заботились, а сам он служил главному делу.

– А почему сейчас ни слуг нет, ни подвижников?

– Сейчас все мы – слуги... так что вся жизнь наша – подвижничество. Без подвижничества такую жизнь не одолеть.

– А, говорят, в Америке тарелки не моют: поел – и выкинул.

– Можно, говорят, и ребенка вместе с водой из ванной выплескивать, но таким подвижникам и имя своё есть – душевнобольные.

(А между тем посуда вымыта, вытерта и разложена по местам.)

Примерно так они начали и на сей раз:

– Пойдем, Ванюшка, плашку-две распилим.

– Мама Нина, а зачем это нам пилить – у нас и готовых дров на две зимы хватит.

– Так ведь гнилушки под ногами валяются, мешают. А зима холодная, печь голодная – все съест.

(А между тем уже и козлы со двора вынесли, и пила звенькнула.)

– Я и говорю: гнилушки да с гвоздями... Вона березы – и в лес идти не надо.

– Нет, Ванюшка, нельзя эти березы валить, они ведь как кресты на могилах – по ним и место родовое находить будут.

– А кто это под нашими окнами березки посадил?

– Так мы с тобой и посадили, Ванюшка! Или не помнишь?

– Помню. Я думал, ты забыла...

Он испытывал её, и она понимала это; она воспитывала его – но этого он не понимал.

И позвонкивала, и постукивала пила на косых сучках, и падали полешки под козлы – и поглядывала Нина то на племяша, как на сына, то на дом – и радость охватывала, и не было в душе тревоги, потому что совесть её перед людьми была чиста и никакой хмари или угрозы впереди – лишь исполнение предопределенного... В душе ее родилась и теперь день ото дня ширилась гордость: вот она сумела, смогла поступить именно так, а не иначе, что она оказалась сильнее обстоятельств. Точно благодать снизошла на неё, стоило лишь поднять, подновить и возвеличить родительский дом. Теперь она уже не сомневалась, что поступила правильно, что при первой же возможности перекроет и крышу шифером.

Они все ещё швыркали гнилушки, хотя Ванюшке пора было собираться в школу, когда, тихо поуркивая, к дому подкатила черная «Волга».

Открыв дверцу, Алексей медленно выпрямился из машины: простоволосый, в изящном, небрежно расстегнутом пальто, при галстукe, он облокотился на верх машины и долго смотрел на сестру и племянника, не проронив и слова.

«Как же она на мать похожа... и Ванька похож... как будто покойная мама с кем-то из нас – и война. Несчастливая, не будет в твоей жизни ни одного светлого дня... так вот здесь на хуторе и зачахнешь».

Утомленно и величественно было на душе. От всего-то здесь веяло далеким, уже как будто историческим прошлым, и стало жаль всех живущих здесь – во вчерашнем дне, и это чувство жалости к другим возвеличивало себя же в своих глазах. Алексей даже ощутил возрастную усталость и даже подумал по-старчески умудренно:

«И это моя колыбель, моё подножье, и я мечтал взглянуть на этот мир с высоты – и мечта моя сбылась... А приехал зачем? Может, проститься, может, навсегда проститься, ведь впереди океан – и плотик подо мной пока чужой и шаткий...»

Заложив одну руку за спину, Алексей степенно и невозмутимо пошёл к пильщикам дров.

«Что ли, случилось что?» – с тревогой подумала Нина.

Поздоровавшись, Алексей присел на козлы – и это был по-своему шик, в таком-то пальто! – взглянул на часы и сказал почти сурово, без прямого обращения:

– Почему не в школе?... Иди собирайся, Михайлыч и прокатит на «Волге». – И коротко глянул на племянника.

Никакого восторга, даже глазом не повел племянник в сторону машины. Морщась, он смотрел на Нину, как если бы приехал не её родной брат, а чужой, неугодный жених, и чтобы вольготнее было, он и спроваживает защитника, то есть его, подальше, с глаз долой.

– Вот и хорошо... Да не забудь поесть, – напутствовала Нина, и Ванюшка взбежал на крыльцо, теперь уже откровенно позыркивая на машину. – Ты откуда... хмурый? – И поправила волосы на лоб выбившиеся.

– Да нет, ничего. Из Курбатихи – к матери заехал.

«Понятно. И никуда от этого не денешься», – вздохнула и склонилась бросать полешки во двор, по два враз.

Рассеянно или отрешенно Алексей смотрел на сестру – и невольно вспоминалось военное и послевоенное детство, жизнь в этом доме: и вот он, Алексей Струнин, рос, как все, и никто не догадывался, что в нем, в мальчонке, зреет особая личность, политическая личность, по крайней мере, уже аппаратчик обкома партии, не загадывая на дальнейшее... И гордость изнутри пьянила, и жаль было, что никто из родителей так и не узнал, в кого вызрел их золотушный сын.

В грезах Алексей и не заметил, когда Нина ушла в дом. Вышла на крыльцо уже вместе с Ванюшкой.

– Дядя Леша, а мы готовы! – как-то по-особому мягко окликнула она.

И вновь Алексея точно покорило: ну, вылитая мать.

Бросив под ноги давно угасшую сигарету, Алексей резко поднялся, чтобы велеть Михайлычу отвезти племянша в школу.

– Через сорок минут за мной, я здесь пообедаю, – распорядился Алексей. И даже многоопытный Михайлыч, качнув головой, слегка скривил губы – никто, кроме Хозяина, вот так не повелевал ему.

5

Родительский дом в памяти Алексея всегда оставался расхлябанным, со скрипом и повизгиванием, с постукиванием и потрескиванием, то есть как всякая бесприютная старость. И вот теперь, когда ни крыльцо, ни мост не погромыхивали, когда все двери без скрипа и стука закрывались, а под ногами вдруг неколебимая твердыня, Алексей смутился, с порога повел взглядом по сторонам, точно искал встретить столь же неколебимого и твердого хозяина дома. Но хозяина не было.

– И все-таки это наш дом, родительский! – Алексей с искренним восторгом негромко засмеялся. – Наш – Струниных...

Повесив пальто на крюк, он прошел к столу, попробовал рукой стул – тверд, не качается – и сел широко, по-хозяйски. Нина молча разливала в тарелки щи. «Зачем он приехал... А ведь зачем-то приехал... Просто так он не приехал бы... О, Господи, эти недомолвки, намеки. Приехал, ну и скажи: так, мол, и так, сестра. Нет, куда там!» – с досадой подумала Нина, а сказала вовсе вроде бы не то, что хотела сказать:

– Что, Алексей, случилось-то что?

– Ничего. Вспомнил мать, отца – вот и все. – Помолчал, почмокал губами. – А теперь вот на тебя смотрю и думаю: зря, наверно, Вера с Борисом уехали в город.

– Зря, братка, не это, зря деревню сгубили – корешок-то и подсекли, и понесло по голой земле, как перекасти-поле...

– Нина, Нина, когда старухи говорят такое – понять можно. Но ты не старуха... Все исторически обусловлено. Не хотелось же кому-то отмены крепостного права – отменили; хотел Столыпин хуторов понасадить – ничего не вышло, убили; многие были против колхозов, а колхозы все-таки есть; кому-то нужны Перелетихи, а Перелетихи приказали долго жить. Потому

что и это историческая неизбежность... Есть в юристике такой термин – вердикт, приговор, решение присяжных. В данном же случае мы имеем дело с вердиктом истории... Ну а кто не понимает этого, тот возмущается, негодует и даже, кстати, в знак протеста капитально ремонтирует дом, обреченный на обязательный снос.

– Какие там протесты! Или легко новый-то дом ставить? И в других домах по старухе за окном – и это, заметь, тоже обусловлено... Ты никак не можешь понять, что сам ты на всё смотришь глазами политикана, через скважину политического вздора. Ведь всюду авантюризм, только масштабы разные. У тебя и набор слов особый – снести, разрушить, перестроить... А я вот смотрю на жизнь как агроном, как хлебопашец, как устроитель земли. Я и думаю, и оцениваю иначе: всё, что способствует разрушению земли, в жизни не должно находить себе места. А умышленно разрушающий землю – от сатаны, – проговорила Нина резко, даже запальчиво.

На сей раз Алексей воспользовался минутой молчания – щи остывали. Вот уж чем всегда восхищалась Нина – способностью Алексея быстро есть. А ведь не спешил, но никто из Струниных никогда не успевал выхлебать и половины, как Алексей, звякнув ложкой, уже отодвигал пустую тарелку. И только уши у Алексея пошевеливались... Ложка звякнула – и Алексей сказал:

– Щи варить умеешь – научилась. Вот не знаю только, какой из тебя воспитатель получится.

Не понимая брата, Нина смотрела на него с удивлением. О чем это он, о каком воспитании, говорили-то о деревне, о земле.

– Ты что это Ваньку к себе пристегнула? У него ведь отец с матерью живы. Моральное право надо иметь, чтобы воспитывать чужого ребенка.

«Господи, пинать начинает. За что?.. Господи, не оставь меня», – мгновенно обессилев, взмолилась Нина, и ответ явился будто сам собою – враз и выложила:

– А ты что, получил такое право?

– При чем тут я? – Алексей прикрыл глаза, навалился на спинку стула.

– При том, Алексей Петрович. Ты ведь чужого-то ребенка воспитываешь, а не я. У меня Ванюшка – мало того что племянник, так ведь и на моих руках вырос. Так что чья бы уж корова мычала, да твоя молчала...

– Малость грубовато получилось, – хмуро оценил Алексей, – но дело-то родственное, ничего, переживу. – И нельзя было понять, у кого грубовато получилось, кому адресованы эти слова. – Не сердись, буду по-братски откровенен. Я ведь тебя больше люблю, чем всех остальных вместе – мне бы брата такого. Ты хоть со своим упрямством, со своим уставом – не худшая характеристика... Только не вставай на дыбки, не то ведь поднимусь и уйду.

Нина молчала.

«Значит, за чем-то приехал... и не поднимешься, и не уйдешь – не тот случай», – подумала рассеянно.

– Меня отзывают на работу в аппарат обкома партии. – Алексей сказал с холодноватой торжественностью и не выдержал этой торжественности – расплылся-таки в улыбке, очень уж обуяла радость. – На неделе и уезжаем. Дела сдал... Так вот если бы не отъезд, то мне, пожалуй, шапку наломали бы. Сначала за дом, за ремонт... Перелетиху-то списали. На новой карте области её уже нет, понимаешь, нет – стушевали. А тут, видишь ли, дом отремонтировали. Понятно: кто разрешил, кто хозяин? Без разрешения, агрономка верующая. Ну а где вера, там и секта, там и сборища. Для этого и уединилась, от глаз подальше... Пришлось сказать Самому, попросить, чтобы прикрыл это дело. А ведь все так – только без секты... Прохлопали мы тебя, вот ты в болото и врюхалась. В конце концов, это твоё дело... Но, Нина Петровна, живите так, чтобы других к себе не пристегивать. А то ведь и Ваньку с пути-дороги сбиваешь. Подумала ты о том, что с парнем может стать, если хотя бы в школе узнают, что ты его в церковь водишь? – Он лишь догадывался об этом, догадку высказал, она не возразила – значит,

правильная догадка. – А мне как? Брат – работник обкома партии. Короче, сестра, живи как знаешь, но не надо портить жизнь другим. И вот мой тебе совет, а если хочешь – мое требование: оставь Ваньку в покое, Вера с Борисом вдвоем – пусть сами и позаботятся о сыне... И по части меня не забывайся – я ведь на монтаж еду, верхолазом, а сверху, знаешь ли, падать больно... Поберегись и сама... не то ведь бульдозером домишко так под гору и кувырнут, и повод найдут юридический...

И непредвиденно сердце вдруг так защемило, что в страхе перехватило дыхание. И стало жаль себя и сестру в ее убогом одиночестве, вот-вот, казалось, и хлынут слезы. Не хлынули. Захотелось обнять сестру, пожалеть, и в то же время Алексей понимал, что сейчас делать этого нельзя, не надо... Он поднял опечаленный взгляд – и брови его дрогнули: сестра еле уловимо щурилась и улыбалась побелевшими губами.

– Продолжай, что же замолчал, – тихо сказала она.

– Да что говорить!.. Жалко мне тебя, заблудилась ты, – и рукой безнадежно махнул, – вот и жалко.

– А мне так тебя жаль. Давай и пожалеем друг друга. Воздержимся от китайских предупреждений... А в общем ты правильно сделал – предупредил. Хоть буду знать, откуда камни полетят.

Алексей было ухватился за эту мысль: вот, мол, и приехал по-братски предупредить. Только язык не поворачивался врать.

– Не трусь, братка, я твоей карьере не поврежу. Брат за сестру не в ответе, времена не те... Только вот не принесет тебе карьера счастья, это пока только ослепило – раздавят. И за Ванюшку не бойся, малый умный, и не лезь в чужое дело... А то, что дом под горушку, так ведь и голову с плеч можно. На всё, братка, Божья воля... Ешь второе – остынет.

Алексей понял, как умело и хладнокровно сестра подрезала ему крыло.

– И в кого ты у нас такая... камень, да и только?

Нина нервно усмехнулась, она и сама только что подумала, в кого это они с братом уродились – упрямые.

– Дак ведь в маменьку, в кого ещё-то. Или не знаешь, что и ты в неё. Маменька и упрямая, а если бы не упрямая – не бывать бы вам в Заволжье. – Нина и рукой всплеснула, спохватилась, вспомнила и спохватилась: – Батюшки, Заволжье, совсем забыла! Аннушка-то ведь письмо прислала, беда у нее: Гришу-то у нее, похоже, в тюрьму посадили. Да вот и письмо. – И она подала письмо в конверте,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.